# Стужа

# Василь Быков

### 1

Городилов скончался ночью, перед рассветом — затих в холодном, продутом ветром шалашике. Азевич, сам задремав к утру, не сразу заметил это, хотя еще с вечера понял, что прокурору уже не подняться. Три последних дня тот не вставал, горел в лихорадке, хрипло и мелко дышал, а с вечера к тому же и перестал узнавать Азевича. Всю эту ночь бредил, бормоча о каком-то (или какой-то) Кузе, вздрагивал, скрипел зубами, то и дело сбивая к ногам шинель, которой они вместе укрывались. Утомившись за ночь возиться с больным, кутать его шинелью, Азевич задремал перед рассветом, но почти тут же проснулся от воцарившейся в шалаше подозрительной тишины. Городилов лежал неподвижно, жар без остатка покинул его тело, грудь под телогрейкой уже не вздымалась. Припав к ней ухом, Азевич ничего не услышал, похоже, все уже кончилось...

К своему удивлению, он не испытал ни особого страха, ни даже сожаления, лишь неясное предчувствие перемены — неизвестно, к лучшему или к худшему. Он не знал еще, чем все обернется, как он поступит теперь, оставшись без начальства, в совершенном одиночестве. Скорчившись под шинелью на мятой хвойной подстилке, он пытался немного согреться, привычно вслушиваясь в обрыдший за неприютную осень шум хвойного леса. Главное — теперь, оставшись один, он мог поступить как захочет, руководствуясь лишь своими намерениями, исходя из своих соображений. До этого, с Городиловым, все обстояло иначе. Все-таки тот был прокурором района, комиссаром группы, опять же старшим по возрасту, обо всем имел собственное мнение и не очень считался с мнением других. Может, и погиб из-за своего упрямства. Простудившись на Мокрянском болоте, он подхватил лихорадку. Наверно, надо было податься ближе к жилью, к людям и теплу, а не околачиваться в этой мрачной лесной чащобе, куда они забились на исходе осени. Азевич несколько раз предлагал уйти, но Городилов заупрямился — нет, переждем, пересидим. Вот и дождался. Теперь ему уже без надобности и тепло, и осторожность — нужна одна мать-земля, на которой он беспокойно прожил без малого пять десятков лет.

Азевич выругался с досады и начал подниматься. Один, рядом с остывшим покойником, он так озяб под волглой шинелью, что невольно постукивали зубы. Тем временем в мрачной норе шалаша забрезжило утро, стало светлее, выплыли из темноты очертания низко нависших еловых ветвей, серые суковатые комли. Что-то там, однако, мелькнуло раз и другой. Азевич с тревогой вгляделся, разом прогнав остатки дремы, меж елей летали белые мухи — это шел снег. Значит, досиделись, думал он, дождались белых мух, что будет дальше? Впрочем, что будет дальше, известно и ребенку: после предзимья наступит зима, мороз и стужа, будут видны следы на снегу. Что делать ему? Одному в этой лесной глухомани?

На корточках он выбрался из шалаша, едва сдерживая дрожь, всмотрелся в лесные окрестности. Сверху падали снежинки, неровно пятная черную землю, бугристую от сплетения еловых корней. Трава тут почти не росла, под елями всегда царил лесной мрак. Место было сухое; наверно, какую-нибудь ямку-могилу он тут и отроет. Правда, у него не было лопаты, но на ремне у Городилова всегда висел штык — широкий немецкий тесак, которым они рубили лапник и резали палки. Теперь, прихватив этот тесак, Азевич прошел между толстенных елок, пооглядывался, подумал и, трудно вздохнув, начал рыть яму.

Рыл неторопливо, с роздыхом, медленно согреваясь после неспокойной холодной ночи, рубил тесаком корни, руками выгребал нарытое. Хорошо, земля не была твердой — под слоем лесного перегноя лежал рыхлый песок, в который без усилия проникал его штык. Как только края узкой щели-могилы достигли колен, подумал, что, пожалуй, хватит. Пока покойник перебудет и в таком пристанище, а там, если появится возможность и он сам останется жив, перезахоронят в более подходящее место. А если нет, так что ж... Не он первый. Хорошо, что нашлось кому закопать. Еще неизвестно, будет ли кому закопать его самого.

Вернувшись в шалаш, Азевич склонился над покойником, немного помедлил. Наверно, следовало бы снять телогрейку, зачем зарывать добро в землю? Но куда ему с телогрейкой? Наденешь телогрейку, придется снимать шинель, а расставаться с шинелью он не хотел. Превозмогая неловкость, сунул руку прокурору за пазуху, вытащил мятый бумажник с документами, не раскрывая, затолкал себе в карман. В карманах прокурорского пиджака нашарил горсть патронов к нагану, мягкий кожаный кисет с остатками самосада, которым они разжились на днях у дядьки на лесной дороге. В другом кармане оказался потертый блокнот с какими-то полустертыми записями. Под головой у Городилова бугрилась кирзовая сумка, рядом лежали винтовка и наган в старой, обшкрабанной кобуре, и Азевич подумал, что, пожалуй, всего этого груза для него многовато. Две винтовки ему, конечно, не нужны, а наган он возьмет, наган ему пригодится. Как пригодился Городилову после их командира, начальника райотдела милиции Витковского, месяц назад погибшего возле моста на шоссе. Тогда под немецким огнем только и успели снять с убитого этот наган да сумку; самого же Витковского оставили в канаве, где его и подобрали немцы.

Не снимая с покойника телогрейки, Азевич выволок его из шалаша; подхватив под мышки, дотащил до ямы. Перед тем как опустить в могилу, немного отдышался, снова поглядел по сторонам. Снежинки в лесном затишье все летали между еловых ветвей, оседали на землю. На усыпанной хвоей земле медленно подтаивали снежные пятна, вокруг было сыро и влажно. С ночи не могли согреться его всегда мокрые ноги, сапоги совсем раскисли, прелые портянки никогда не просыхали. Но и у Городилова обувь была не лучше, подошва на правом сапоге отстала и едва держалась на паре гвоздей. Наверно, следует как-то проститься, думал Азевич, но не знал как. Широкое, обросшее седоватой щетиной лицо покойника казалось удивительно успокоенным, подчеркнуто безразличным ко всему, что так беспокоило его при жизни, и особенно в эту страшную осень. Все тревоги и заботы остались теперь позади, не надо было переживать за неудачи с отрядом, гибель одних, измену других, нелепую простуду на болоте, что погубила сильного, здорового человека.

Физически Азевич не был сильнее прокурора, но был моложе его и вроде уберегся от простуды. Хотя оба они здорово вымокли в тот раз на болоте, пока выбрались на этот пригорок. Городилов назавтра уже не поднялся. И теперь вот — могила. Умереть во время войны от болезни — незавидную, однако, роскошь уготовила военная судьба человеку.

Как можно бережнее Азевич опустил покойника ногами вниз, затем, придерживая за плечи, уложил грузноватое его тело на дно ямы. Вот и все. Осталось завалить землей, заровнять могилку, чтобы от нее не осталось и следа. Или, наоборот, насыпать могильный холмик, соорудить какой-то знак, чтобы обозначить могилу? Азевич не знал, как лучше поступить, и, не очень аккуратно закидав яму землей, вернулся в шалаш.

В шалаше, однако, он уже оставаться не мог, хотелось скорее уйти с этого проклятого места. Вытащил из-под лапника полевую прокурорскую сумку, свой вещмешок, взял обе винтовки. Тут же валялась фуражка покойника — выцветший, провонявший потом картуз с самодельным матерчатым козырьком. Азевич напялил его себе на голову. Свою кортовую кепку, размахнувшись, швырнул между деревьев. Немного подумав, городиловскую винтовку повесил на ель — пусть висит, может, кому понадобится. Перекинул через голову ремни от кобуры и полевой сумки, подхватил свою винтовку. Надо было идти.

Вот только куда?

О том, куда податься, они немало переговорили с прокурором, оставшись вдвоем еще в Страшицком лесу, где их дважды гоняла немецкая жандармерия. Тогда им казалось, что лучше всего забраться в самую непролазную лесную глушь, чтобы никто их не обнаружил. Сначала так и было — здесь их никто не искал, деревни остались в стороне, за болотом, и они несколько дней без опаски жгли в чаще костры, сушились, пекли картошку. К несчастью, картошка скоро кончилась. Буханку хлеба они поделили сперва на четыре части, а потом еще на три. Вчера Азевич доел последний, усохший кусок, размером с папиросную пачку. Больше съестного у них не было. А голод стал донимать все сильнее.

Навозившись с этими похоронами, Азевич почувствовал, как сильно сосет под ложечкой, давящая пустота тянет в животе. Но пока остается терпеть, уговаривал он себя, до деревни не близко. На этот раз он не полезет в болото — в болоте гибель. Он направится в другую сторону, может, более опасную, но что ему теперь опасность? Ближние деревни, кажется, остались южнее, Городилов называл какие, но тогда они не имели определенных намерений, и Азевич не запомнил названий. Помнил только, что где-то поблизости должны быть Маняки, в которых жило несколько знакомых колхозников. Наверно, к ним и следовало топать.

И он, не торопясь, побрел между елей с пригорка, предусмотрительно забирая в сторону от болота. Редкие снежинки все летели-сыпались с мутного неба, но до земли вроде не долетали, похоже, таяли в воздухе. В ельнике было почти безветренно, только вверху качались еловые вершины, и по лесу растекался тягучий неумолчный шум. Внизу, под деревьями, было чисто и голо, без хвороста и подлеска, местами желтели россыпи еловых шишек да зеленели колючие кусты можжевельника. Спустя час ходьбы лес понемногу начал менять свой облик. Ельник все больше уступал место березам, уже неприютным и голым, без листвы, слежало пластавшейся теперь под ногами. Чаще стали попадаться захламленные хворостом заросли, продираясь через которые, Азевич думал, что неплохо бы набрести на какую-нибудь тропинку, иначе он и до темноты не выберется из этого леса. И в самом деле, вскоре ему попалась заросшая жухлой травой, давно не езженая лесная дорожка. Только пролегала она как раз поперек направления, в котором он шел, и он, остановившись, не сразу сообразил, в какую взять сторону. Почему-то, однако, пошел направо, показалось, там реже был березняк, возможно, там начиналось поле. А где поле, там, конечно, будут и люди. По дорожке идти стало удобнее, он согрелся, согрелись ноги в сапогах, и Азевич вдруг недоуменно подумал, как это он остался один. Да в таком положении. Никогда с ним не случалось ничего подобного, рядом всегда были люди — хорошие и не очень, начальство и подчиненные, простой здешний люд. А тут, будто волк в осеннем лесу, голодный, простуженный, без определенной цели, он брел неизвестно куда. Дожил, называется, черт бы их побрал, мрачно подумал он, вспомнив Витковского, да и Городилова тоже. Хотя что уж было винить покойников? Но и как было не винить? Того же начпрода Углова, которого какой-то обормот зачислил в отряд. Хотя вряд ли это произошло без ведома начальника райотдела внутренних дел Витковского или прокурора Городилова. Впрочем, в то время их можно было понять: кому, как не председателю райпо[[1]](#footnote-1), поручить обеспечение отряда продовольствием. Ведь в его распоряжении находились продукты, транспорт, да и Страшицкий лес он знал неплохо, сам когда-то жил рядом, в деревне Лесной. Непогожею ночью скрытно нагрузили на складе райпо две полуторки мукой, крупами, картошкой, прихватили несколько ящиков консервов и даже махорки, отвезли в самый глухой конец леса, где оборудовали в яме тайник. Замаскировали так, что за пять шагов ничего не заметишь, посадили сверху пару молодых сосенок. Казалось, никто ниоткуда не видел, все заровняли, загладили, на мшанике не осталось и следа. В сентябре ни разу не дотронулись до того запаса, обходясь тем, что имелось под рукой, больше из собственных сидоров — основной запас берегли на потом, когда прижмут холода, исчезнут под снегом лесные тропы. Надеялись с тем запасом пересидеть зиму. Но вот досиделись. Когда в начале ноября впервые устроили немцам засаду, о них заговорили в местечке, и в Страшицком лесу стало куда как тревожно. Дважды их обкладывали немцы с полицией, они по-глупому потеряли двух человек убитыми, двух раненых спрятали на дальних хуторах за болотом. На фронте творилось черт знает что, никто толком даже не знал, где находился тот фронт, вроде уже под Москвой. И тогда как-то в ночи с отрядной стоянки исчез этот самый Углов — вечером был, а утром пропал неизвестно куда. Хорошо еще, что Витковский сразу скомандовал сменить стоянку. Похватав свое имущество, они живо смылись из шалашей, радуясь, что удалось улизнуть от немцев, которые через пару часов и в самом деле нагрянули на стоянку. Тогда же немцы обнаружили и их тайник с продовольствием, хотя он находился за два километра от стоянки. Потом выяснилось: этот Углов перебежал к полиции и все выдал. Так они разом остались без соли и без курева, без картошки и муки.

Наверно, пополудни Азевич выбрался из леса на узкий и длинный луговой простор с извилистой речкой посередине. Тут дорога сворачивала влево, и он, оглядевшись, пошел по ней. Снежное мелькание в воздухе тем временем вроде совсем прекратилось, по ветру тянуло мелкой дождевой моросью. Очень хотелось есть. Азевич давно уже притомился, влажная шинель пудовым грузом оттягивала плечи, в намокших сапогах все тяжелели ноги, и он шатко брел по дороге. Увидев впереди, на краю луга, стожок сена, повернул к нему. Стожком, видимо, уже кто-то попользовался, снизу в его боку темнело примятое углубление, в которое Азевич и ввалился спиной, вытянув на траве усталые ноги. При ходьбе все время мешала полевая сумка Городилова, теперь он передвинул ее на колени и не сдержал любопытства: чего натолкал туда прокурор? В сумке оказались лишь какие-то политические брошюры с длинными названиями на синих обложках, потертые ученические тетради с планами политических мероприятий, написанное чернильным карандашом выступление по случаю Октября, еще какие-то бумаги с затертыми карандашными записями. Городилов слыл у них порядочным формалистом, и Азевич нисколько не удивился, обнаружив этот бумажный хлам, который давно следовало выбросить. Тем более что группы уже не было, одни погибли, другие разбрелись кто куда. Это — из двадцати двух районных работников, которые три месяца назад на рассвете тихо выбрались из местечка, чтобы начать народную войну с захватчиками. Начать-то начали, но вот как кончили. Дольше всех продержались они с Городиловым, который после гибели Витковского взял на себя командование группой. Что-то не заладилось у него с людьми, люди не хотели его слушаться. Им и прежде ближе была суровая сдержанность Витковского, который за весь день, бывало, не произнесет и двух фраз, больше донимая их строгим взглядом, а то и злой матерной бранью. Но его понимали и с некоторым даже удовольствием ему подчинялись. Городилов же стремился все разъяснить, растолковать, довести до сознания — будь то чья-либо провинность или их общий долг перед Родиной. Бывало, все уже ясно, пора заканчивать, а Городилов все топчется перед их коротеньким строем и разъясняет, разъясняет. «Все поняли?» — спросит он и, не дождавшись скорого ответа, начинает объяснять по новой. Витковский в таких случаях стоял молча, терпеливо следя, чтобы никто не нарушал строй, все внимательно слушали. Он предпочитал общаться на языке воинских команд, наиболее популярными из которых у него были «Подтянись!» и «Шире шаг!». Сам всегда шагал легко и ровно, подоткнув под ремень полы шинели и мрачно поглядывая на комиссара, который устало топал рядом или в конце колонны, сдвинув *с* потного лба свой полинявший картуз.

Удобно устроившись в мягком сене, Азевич в задумчивости перебирал содержимое комиссарской сумки, под бумагами в которой обнаружил еще небольшой обмылок и завернутый в бумажку бритвенный помазок. Он снова сложил все в сумку. Тощий комиссарский бумажник с тремя червонцами затолкал в тесный карман своего френча, который носил до войны и теперь, в войну, тоже. Френч был удобен, с карманами на груди, застегивался до подбородка. Почти из такого же материала теперь был и картуз на его голове — чем не вояка!

Но, пожалуй, уже не вояка и не партизан даже, — кажется, с их партизанством решительно не получилось. Теперь надо было где-то пересидеть и, может, связаться с высшим начальством, доложить, как и что у них произошло с отрядом. И кто виноват. Но кого обвинять, если обоих начальников не осталось в живых, а люди... Люди, на удивление, оказались разные. И кто бы подумал! Когда собирали группу, все казались такими патриотами, проверенными большевиками, без малейших сомнений готовыми на все ради победы. Но вот при первой же неудаче возле Мокрянского болота, когда их окружили немецкие жандармы и они каким-то чудом прорвались, не осталось и следа от братьев Фисяков. А ведь вроде хорошие были ребята, до войны работали в леспромхозе, старший — даже мастером участка, знали здешние леса, наверно, тем и воспользовались в удобное для себя время. Не дождавшись братьев по выходе из окружения, командир послал двух партизан на их поиски, думали, может, где отстали, раненые. Сутки спустя вернулся один Колыпал, другой же, молодой парень, комсомолец Леня Полозов, был убит в засаде. А еще через неделю стало известно, что эти Фисяки уже дома, в местечке, выбирают с женками картофель на огородах, и никто их не трогает — наверно, уже объяснились в полиции. Услыхав об этом, Витковский только проскрипел зубами, а Городилов сказал, что недолго они поедят того картофеля. Но вот минул месяц, не стало ни Витковского, ни комиссара, а Фисяки все отъедаются своим картофелем — и вареным, и в мундирах, и в клецках. Жарят драники с салом...

Луговина лежала по-осеннему пустой и серой, никого поблизости не было видно. Но дорожка здесь показалась Азевичу более наезженной, чем в лесу, и он подумал, что где-то неподалеку должны быть деревни. Эти места относились к соседнему району, который он знал плохо. Не то что свой, изъезженный и исхоженный им вдоль и поперек. И когда работал в исполкоме, и позже, когда стал кадровым работником райкома партии. Но до границы его района отсюда, пожалуй, километров десять. Там бы он ориентировался уверенно, а здесь, выйдя из леса, ощутил беспокойство. Не хотелось без надобности попадаться никому на глаза, все-таки разные могли встретиться люди. Кто поможет, а кто и продаст — из страха или чтобы подладиться к немцам. Тут уж как получится. Вон для их Клименкова кончилось и вовсе плохо — пошел на связь со своим человеком в Черноручье, дорогой все обошлось благополучно, встретились, поговорили, и хозяин предложил переночевать. Как раз шел дождь, Клименков промок и согласился отдохнуть до рассвета. Видать, крепко уснул с дороги и, наверно, видел счастливые сны: когда полицаи пыряли его винтовкой под бок, еще улыбался во сне и отмахивался рукой от винтовки. Взяли Клименкова и расстреляли через два дня, неизвестно, где его и зарыли. Потому, наверно, лучше немного выждать, пересидеть где-либо в стожке, а как стемнеет, выйти на дорогу. Деревня, пожалуй, где-то поблизости.

Стараясь не заснуть, Азевич расслабленно сидел под стожком. Немного начали зябнуть ноги, спине же от сена было в общем удобно — мягко и тепло. Правда, из-за стожка временами задувал ветер — похоже, на смену погоды. Хоть бы не повалил снег, с беспокойством подумал Азевич, не засыпал черную тропу. Конечно, ему надобно где-то укрыться, а там будет видно. Вот только где укрыться. Удивительно, чем обернулось для них это их партизанство, сокрушенно думал Азевич. Тогда, в самом начале, они старались забраться в самую глушь, подальше от деревень, людей, затаиться за болотами, чтобы никто не знал, где они, откуда возникают и где скрываются. Каждый, кто появлялся поблизости от стоянки, вызывал у них подозрение, думали — шпион, подосланный немцами. Как-то в начале осени в Страшицком лесу ребята привели дядьку с уздечкой: говорил, ищет кобылу. Он оказался из не очень близкой деревни Шелудяки (деревень поблизости там вообще не было), удалился от дома, может, километров на пять, и это вызвало подозрение — не ищет ли он их, а не кобылу? Непросто было понять, как все обстояло на самом деле, но дядька набрел на стоянку, видел их шалаши и даже узнал некоторых партизан — как было его отпускать? Не отпустили, посадили под стражу и стали рядить, что делать? Оно, может, и правда — искал кобылу, зашел далековато и нечаянно набрел на стоянку. А может, и нет. Может, набрел преднамеренно, по заданию немцев, и теперь выдаст и стоянку, и группу. Но как проверить? Даже если пойти в его Шелудяки, что там можно узнать? Комиссар Городилов рассуждал и так и этак, ребята ломали голову, как быть, и тогда командир Витковский решил: «Все ясно. Горейко, сполняйте!» Партизану Горейко не надо было приказывать дважды, тот все понял с первого слова, встал и спокойно — к тому шалашу. Они все остались, где сидели кружком, молча, потупив взгляды, слушали. Ждали, однако, недолго, возле болота негромко щелкнули два револьверных выстрела, и вскоре появился Горейко. Пришел и молча опустился на свое прежнее место. «Все, теперь завтракать», — сказал Витковский и встал. Встали и они. И пошли завтракать, избегая, однако, глядеть друг другу в глаза. То, что произошло, вроде принесло облегчение, сняло напряжение, их стоянка осталась нерассекреченной, пока можно было не тревожиться. Но тревога почему-то осталась. Что-то продолжало угнетать, будоражить сознание, хотя каждый старался придушить это чувство, не дать ему разрастись до неприязни неизвестно к кому.

Тогда им никто не был нужен, они полагались на самих себя: группа располагала силой и некоторым опытом, имела оружие и продукты. Они могли дать бой и даже иногда победить, научились скрытно устраивать засады, нападать внезапно. Но вот Азевич остался один, без людей, и ощутил себя заурядным голодным бродягой, лишенным жилья и пищи. Так, чувствовал, недолго протянет. На носу зима. Зимою же одному среди леса — погибель.

Он выбрался из стожка, когда еще было довольно светло, еще только начинало смеркаться. Теперь его время — ночь, возможно, еще и осенний вечер. Закинул за плечо винтовку, на другое плечо подхватил свой старый облезлый рюкзак, с которым пришел в то утро из местечка, собрав кое-что из вещей: пару запасных портянок, белье, бритву, а также «Историю ВКП(б), краткий курс», по которой он как агитатор проводил занятия в группе. Тощий этот рюкзак не много весил и не мешал при ходьбе. Ему больше мешала толстая городиловская сумка, и он то и дело отбрасывал ее за бедро. Понемногу, однако, темнело, кустарник и лес за лугом постепенно растворялись в вечернем сумраке, дальний конец луга уже затянулся серой туманной наволочью. Оглянувшись, Азевич скорым шагом пошел по дороге, подумав, что в такой его полувоенной экипировке только и ходить по ночам. Днем нельзя. Днем, кто ни увидит, даже издали, сразу поймет, что за прохожий. Хорошо еще, если только поймет, а если позовет полицию? Что же тогда ему — начинать перестрелку или погибать по-дурному? Нет, по-дурному погибать он не хотел. Разве что в безвыходном положении, тогда уж конечно... Не он первый, не он последний.

День действительно был короток — во всех отношениях серый осенний денек, вечер наступал на утро. Скоро вовсе стемнело, и вокруг ничего не стало видно. Лесная опушка отодвинулась куда-то в сторону и вовсе исчезла в темени. Дорога вывела его в поле, на котором заметнее усилился напор холодного ветра. Чаще стала попадаться грязь, лужи под ногами. Раза два Азевич влез в довольно глубокие колдобины, совсем промочил ноги.

Все время всматриваясь в темень ночи, он обнаружил впереди что-то темное, продолговато-громоздкое. Кажется, это были строения, два пониже возле дороги и что-то повыше — за ними. Изгородь, на которую он наткнулся, привела его к воротам усадьбы, в низком оконце за крохотным цветничком хлипко мерцал красный огонек коптилки. Иногда он исчезал в тени — наверно, там кто-то двигался возле коптилки. И Азевич решился. По-видимому, это была первая усадьба, на краю деревни, и в этом была опасность. Но искать другие Азевич не стал и осторожно вошел в полураскрытые воротца.

—  Кто там?

Все-таки его услышали в темени. Сдерживая волнение, Азевич ступил два шага и так же тихо ответил:

— Свои... Можно к вам?

В ответ было неопределенное молчание. Но он разглядел неясное очертание человеческой фигуры возле крыльца, наверно, это был хозяин усадьбы. Азевич подошел ближе, чувствуя в темноте настороженно-пугливое внимание человека.

— Может, зайдем. А то...

Человек повернулся и, пригнув голову, молча перешагнул порог. Азевич пошел за ним и, миновав темные сени, оказался в избе. У порога на уголке стола горела самодельная коптилка, тускло освещая побеленный бок большой печи напротив да закопченный потолок. Хозяин бросил у входа принесенные со двора поленья и выпрямился. Несколько испуганных лиц из полумрака избы молча уставились на непрошеного гостя.

— Мне бы переночевать, — нерешительно проговорил Азевич.

В избе все молчали, продолжая тревожно оглядывать его. Азевич терпеливо топтался на темном полу, переставляя у ног снятую с ремня винтовку. И тогда стоявшая к нему ближе других молодайка с косой на спине подхватила из темноты какую-то одежку, видно, освобождая место на лавке.

— Идите, сядайте, во...

Он мысленно поблагодарил и шагнул к лавке, снял с себя сумку, рюкзак. Напротив, возле коптилки и у печи, застыли тусклые фигуры, но он уже понял, что это — семья: молодка и старая согбенная бабка в платке, и еще женщина, похоже, жена хозяина, неуклюже одетая в мужскую телогрейку. Поодаль, возле запечья, болезненно охая, ворошился лысый седобородый дедок. Он долго пристраивался там, чтобы сесть, прежде чем начать разговор.

— Прохожий или тутэйший будете?

— Прохожий, — сказал Азевич. — Окруженец.

— Этак? Теперека они идуть, окруженцы, — с горечью сказал дед. — От самого лета идуть. А родом же откуль? Или дальний будете?

— Нет. Соседний район.

— Ну то близко, — сказал дед. — Коли соседний район, так близко... А то на Покров были у нас двое, так аж из Расеи сами. Идуть, идуть люди. Что робится...

Азевич окинул взглядом мрачное убранство жилища, его настороженных обитателей; то, что с ним охотно заговорил дед, обнадеживало. Правда, несколько озадачивал хозяин, плечистый, лет сорока мужчина с коротко подстриженными усиками под широким носом, который также украдкой внимательно рассматривал его. Уж не хочет ли он его узнать, подумал Азевич. Может, где видел в те годы? Ничего не сказав, хозяин снял полушубок и принялся мыть руки. Изба оказалась просторной, разделенной шкафом с занавеской на две неравные половины. Дед остался на прежнем месте, возле печи, а женщины продолжали, видно, прерванные его приходом занятия — что-то прибирали, приносили-выносили, хлопотали возле печи. Гостю раздеться не предлагали, но пока и не отказывали в его просьбе. И он подумал, что, по всей видимости, заночует. А если заночует, то, наверно, чем-то и покормят. Не может того быть, чтобы спать положили голодным.

— Вот забрел по ночи, а не знаю, как и деревня ваша называется, — сказал Азевич более для того, чтобы не молчать.

— А мы на хуторах, — охотно отозвался дед. — Хутора наши Авдеевскими называются. Еще за царом, как выделили вон из той вески[[2]](#footnote-2) Карачуны, так и засталися...

— Карачуны? Слышал вроде. Это возле озера?

— Вон оно, видно в окно озеро, — кивнул головой дед, хотя за окном уже не было ничего, кроме непроглядной осенней темени.

На какое-то время его оставили без внимания. Молодица что-то тихо спросила мужчину про корову, тот коротко ответил, что всех напоил, вода пока есть. Наконец женщины вроде принялись собирать на стол: звякнула заслонка в печи, по избе поплыл вкусный запах съестного, и Азевич порадовался скорому ужину. Собирали на стол, однако, медленно, хотя вроде бы ничего уже не варилось, в печи не горело. Азевич скоро согрелся в теплой избе, расстегнул крючки шинели, но ремня не снимал, винтовку прислонил к стене. Он ждал расспросов, да и сам не прочь был поговорить, расспросить кое о чем. Но какая-то настороженная безмолвность воцарилась в избе и сдерживала его желание. Правда, он не чувствовал в том ничего предосудительного, знал обычай здешнего люда дожидаться, пока первым заговорит гость. Было в том и уважительное отношение к гостю, и некоторое опасение чужого, а может, и враждебного человека. Впрочем, стоило опасаться, особенно в это треклятое время, может, эти уже были научены.

— Так как же вы тут поживаете? Или война обошла стороной? — спросил Азевич.

— Гэ, как жа, обышла, — живо заговорил дед. — Война не обойде... Подперла всем. Вон гаспадар тожа с войны пришел, — кивнул он в сторону хозяина.

— Окруженец?

— Окруженец, а як жа! Из пекла вырвался, вошей кучу принес. А и теперь...

— Ладно, помолчи ты, — неприязненно отозвался хозяин.

Но дед вроде уже заимел желание поговорить со свежим человеком.

— А что! Такой секрет... И теперь вот чапляются. В полиции...

— Ну ты! — уже со злостью прикрикнул на него хозяин. — Придержи свой язык! А то распустил, как вожжи...

И старик враз умолк, насторожив тем Азевича, которому в этой коротенькой перепалке почуялось что-то неприятное. Какой-то намек на то, чего он не должен был знать. С этим не преодоленным в себе чувством он поднялся со скамьи, когда молодуха позвала его ужинать за шкаф, куда унесла и коптилку. Из глиняной миски на столе шел пар, и пахло чем-то полузабытым. Не выпуская из рук винтовки, Азевич неуклюже протиснулся за стол. Пока усаживался, его взгляд невольно скользнул по целому ряду образов на стене, вид которых также неприятно уколол его — больно уж много было их, убранных в полотенца, с бумажными цветами по углам. Староверы эти хозяева, что ли, подумал Азевич, все внимание которого скоро захватила пища.

За стол, однако, никто больше не сел, и он не стал медлить, взял ложку. В миске были комы, картофельная каша с бобами; оголодавший Азевич ел с хлебом, не обращая внимания на примолкших хозяев. Только однажды он поймал на себе взгляд молодой женщины, и показалось, в том ее взгляде проскользнула забота, а может, и сожаление — о нем или о себе тоже. А может, они побаивались его? Но кто он теперь был для них, хотя и при оружии, — обессилевший и голодный, он целиком находился в их власти и зависел от их расположения.

— Гляжу, вроде вы работали в местечке перед войной? — улыбаясь, спросила молодуха, стоя поодаль от стола.

— Вроде было дело, — нарочито неопределенно ответил Азевич, поведя на нее взглядом.

Та будто даже смешалась.

— Сдалося мне — видала вас. В РДК[[3]](#footnote-3).

— Может быть, может быть...

Он не хотел признаваться, где и кем работал до войны, — он их не знал, лучше, чтобы и они не знали его. Молодуха выждала немного, а затем принялась устраивать гостю ночлег. К одной скамье придвинула другую, принесла из запечья какую-то одежду, подушку. Тем временем он опорожнил миску, даже выскреб ее ложкой. Недоеденный ломоть хлеба незаметно сунул в карман шинели.

— Ну спасибо вам, люди.

— Богу спасибо, — сказал дед, все время молча следивший за ним из запечья.

Потом села за стол семья. Азевич же, сытый и согревшийся, снял наконец шинель, сапоги и, не снимая френча, вытянулся на скамьях. Наган и сумку положил в изголовье, винтовку устроил подле, у стены. Укрыться ему дали старый тулуп, но было тепло, и он пока оставил его в ногах, а сам с давно не испытанным наслаждением отдался покою. Хозяева в избе вели себя сдержанно, разговаривали полушепотом — от робости или из уважения к гостю. Но эта их сдержанность не очень нравилась Азевичу: казалось, тихо переговариваясь, имеют в виду его. Оттого было немного тревожно, но он отгонял от себя это недоброе чувство — ну что они ему сделают? Впрочем, кажется, люди как люди, хозяин сам натерпелся на войне, мог понять солдата. Он уже засыпал, когда стукнула дверь, кто-то вышел, но скоро вернулся в избу. Дед с тихими охами устраивался на печи; послышался тихий ритмический шепот — кто-то молился на ночь. Последним он услыхал тихий вопрос молодухи, затворена ли дверь, и уснул.

Спал без снов, отрешась от своих забот и всего на свете. Но вдруг неизвестно отчего проснулся. Из-за внезапно охватившего его беспокойства не сразу понял, что это снова стукнула дверь. Была еще ночь, вроде все спали, но почти беспричинная тревога вдруг обернулась сонным испугом, и он вскочил на ноги.

— Хозяин! Хозяин!! Где хозяин?

Ему никто не ответил, хотя он чувствовал, что его услышали. Но все молчали. Но где же хозяин? Кажется, он ложился вместе со всеми, вечером вроде никто не выходил из избы, не вышел ли он сейчас? Наконец на его встревоженный голос из запечья отозвалась женщина:

— Да он к корове... Корова там стельная, так он посмотреть.

— Корова? Где корова?

Азевича трясло — от испуга и черного, тяжелого подозрения, в котором он уже — чувствовал — не ошибается.

— В хлеву, там, за двором.

Азевич наскоро обулся, шатаясь со сна, накинул на себя шинель, подхватил ремни от кобуры и сумки, винтовку. Молча, не прощаясь, выскочил через сени в серый ночной сумрак, бросился к закрытым дверям сарая, потом к другому сараю, негромко окликнул:

— Хозяин! Хозяин!..

В ответ лишь тихо прокудахтала в сарае курица, да где-то сонно отозвалась свинья. В других сараях было тихо, хозяин не откликнулся, и Азевич сердито выругался. Кажется, он все понял правильно.

Он выскочил на улицу и остановился, не зная куда податься. Хотел назад, в лес, откуда пришел вечером, но вовремя понял: по дороге догонят. И он перемахнул через дорогу в поле; едва не вывихивая стопы, перебежал пашню и по истоптанной шершавой стерне побежал в ночь. Вокруг лежало темное поле, местами высились в темноте голые кроны одиноких полевых деревьев, дул упругий холодный ветер, но снега или дождя еще не было. Низкое небо густой чернотой давило серый полевой простор, до утра, наверно, было еще далеко. На бегу согрелся, скоро, однако, почувствовал, что выматывается. С сожалением вспомнил про свой оставленный под лавкой рюкзак, впрочем, пусть подавятся его жалким имуществом, ему бы голову сберечь. Но он все не мог сообразить, в каком направлении идти, хотелось лишь подальше от того предательского хутора, где так сочувственно приняли, накормили, положили спать. Ясно, чтобы выдать полиции, потому что куда же еще среди ночи мог исчезнуть хозяин? Ему еще повезло, что услышал, проснулся, а то бы на рассвете взяли тепленьким, как Клименкова. Теперь уж не догонят, теперь уйдет, пусть ищут ветра в поле.

Постепенно он сбавил шаг, пошел медленнее. Миновал какой-то голый кустарник, за которым началась мягкая трава под ногами — наверно, опять луг или речная пойма. Если пойма, то плохо — можно набрести на реку, как в темноте через нее перебираться? Он все время напряженно всматривался в ночь, стараясь на фоне светловатого ночного неба различить, что там, впереди, — как бы снова не наткнуться на хутор или деревню. Он уже опасался поселений и людей, знал: от тех и других надо держаться подальше. Но и как вовсе обойтись без людей? Наверно, скоро начнет светать, что тогда делать? Где укрыться? Как перебыть день?

Рассвет застал его в поле, возле зарослей мелколесья — ольшаник вперемежку с молодым березняком тихо высвистывал на ветру свою осеннюю песню. Азевич пошел вдоль опушки, уже вовсе не соображая куда. Он хорошо согрелся, даже вспотела спина, винтовка привычно давила плечо, неуклюже болталась на бедре толстая городиловская сумка. И как только стало лучше видно вокруг, он высмотрел невдалеке среди кустарника одинокую сосенку, сквозь заросли пролез к ней. Наверно, винтовка ему уже не понадобится, подумал он и, сняв ее с плеча, сунул под низкие ветки сосенки. Туда же затолкал и сумку. Отойдя, оглянулся: место в общем казалось приметным, сосен тут было немного, а эта стояла ближе других к опушке, напротив одинокого дерева в поле. Наган, разумеется, он пока не бросит, наган еще может понадобиться. А вот кобура ему ни к чему, размахнувшись, он швырнул ее подальше в кустарник. Теперь внешне ничто не выдавало в нем партизана. Он просто человек. Прохожий. Идет из окружения.

Когда окончательно рассвело, впереди, в каком-нибудь километре, он заметил дорогу с рядом телеграфных столбов и одинокой повозкой вдали. Ему надо было переходить поле, и с дороги его могли заметить. Он остановился. Наверно, разумнее было забраться в кустарник, все-таки там теперь укрытнее, чем в голом, открытом поле. И он, свернув в чащу, побрел между зарослей, обходя самые густые места, временами нагибаясь под низкие ветки, придерживая картуз на голове. Тут уж никто его увидеть не мог. Плохо только, что он не знал, как долго протянутся эти заросли и когда он выберется на открытое место, чтобы оглядеться, понять, где очутился. Все-таки ему надо было держать направление на юг. Вот только пойми, где тот юг...

Так он набрел на чащу хвойного молодняка, который по-летнему зеленел среди серого осеннего мелколесья, и забрался в его середину. В гуще колючих сосенок было тихо, почти безветренно, и Азевич боком опустился на мягкую, устланную хвоей землю. Пожалуй, тут он и устроит дневку, отдохнет после ужасной ночи. А главное, решит, как быть дальше, куда податься. Ибо такое блуждание, чувствовал наверняка, хорошо не кончится. Кончится бедой, которая может стать для него последней.

Хвойные верхушки пошатывал несильный утренний ветер, внизу же было затишье. Азевич скорчился на боку, сомкнул в широких рукавах озябшие руки. Голову, насколько было возможно, втянул в расстегнутый воротник шинели, дышал себе на грудь — тем согревался. Мысленно он не первый раз перебирал знакомые места района, деревни, куда когда-то наведывался, припоминал кое-кого из знакомых. Теперь не на каждого можно было рассчитывать, многие, наверно, в армии или подались на восток, кое-кто переметнулся к немцам. А если и не переметнулся открыто, то в душе вряд ли сочувствовал недавним руководителям района, местным активистам. Прежде чем к кому-либо наведываться, надо хорошенько подумать, припомнить, чем тот дышал в недавнее, предвоенное время, в годы классовой борьбы, разоблачений врагов народа. Пусть тогда и вырвали многое с корнем, но, наверно, не все. Наверно, немало еще и осталось, разве не обнаружилось это в начале войны, оккупации? Вот хотя бы и этот окруженец, к которому он так неудачно забрел вчера: накормил и мягко постлал на скамьях, а сам ночью — в полицию. Недаром вечером не позволил что-то сказать старику, наступил на язык. Сволочь! Фашистский прихвостень!

Все-таки лежать на голой, стылой земле было холодно и неудобно. Он вертелся и так и этак, стараясь согреться, но зябли бока и особенно ноги. Наверно, минуло немало времени, пока тело немного попривыкло к стуже и Азевича начала окутывать тягучая сонная немощь. Хотя он и уговаривал себя не спать, но ощущение опасности постепенно притуплялось, наваливалась дрема. Все-таки в лесу, в чаще, не то что в поле или при дороге, здесь было спокойнее. На грудь, за пазуху он надышал немного, стало даже казаться, что начал согреваться. Продолжали, однако, мерзнуть промокшие с вечера ноги. Сапоги развалились до основания.

### 2

...В лесу выручали постолы[[4]](#footnote-4) с подостланным внутри сеном. Если уберечься от воды, по сухому снегу. Постолы неплохо служили даже и в крепкий мороз, который усиливался к вечеру. Мужики хорошо наработались, пока загрузили на станции свои кубометры рудстойки[[5]](#footnote-5), в деревню возвращались уже в сумерках. Конь у Егора был неплохой, немолодой, но старательный, тягловитый Воронок, которого он заботливо укрыл во дворе попоной, бросив охапку свежего сена, — хрумстай, Воронок, отдыхай до завтра. Впрочем, завтра предполагался коню выходной, а Егору — праздник. Крещение. Завтра мужики в бор не поедут — поедут в местечко, к церкви. Правда, Егор в церковь ехать не имел намерения, ему надо было слетать к Насточке, хотя он и не решил, когда это сделать, сегодня или, может быть, завтра, на святой вечер. Насточка жила в соседней, через поле, деревне Старовке, жители которой почти сплошь были католики, в их же деревне обитали православные. По праздникам католики ездили «до костелу» за двадцать километров, в свое местечко Альхимовичи, а эти — в другую сторону, за восемнадцать, в Межево, где были церковь и синагога. К тому времени в местечке Межево уже утвердились и районные власти — райком, райисполком, нардом и все остальное. Костела там не было.

Пока мать собирала ужин проголодавшемуся сыну, тот разувался — скинул намерзшие постолы, развесил в запечье портянки, пусть сушатся. Там же нашел шерстяные носки и достал из-под кровати свои юфтевые сапоги. Сапоги были его заботой. На погулянку в постолах не пойдешь — нужны сапоги. Только его, видно, отгуляли свое и готовились окончательно оскалить зубы, хотя он и подбивал их не однажды. Новые сапоги нужны были позарез, но где их взять — в лавке не купишь. И сшить негде: частных сапожников извели, а чтобы сшить в артели, требовалась справка о том, что все по хозяйству уплачено. К сожалению, в их хозяйстве далеко не все было уплачено, и при отце о сапогах Егор даже не заводил разговор.

Он обувался на лавке, а мать бросала в его сторону недовольные взгляды, но не спрашивала, не упрекала, лишь скупо спросила: «Пойдешь?» Он не ответил, хотя точно знал, что пойдет. Вчера мать ворчала: «Вот окрутила, так окрутила эта полячка». Это она про Насточку. Егор молчал, хотя чувствовал, что никто его не окручивал, тем более такой мотылек, как Насточка, и если он ухаживает за ней, так по своей доброй воле. О предстоящей встрече он думал все время в лесу, пока ворочал там намерзшие бревна, думал по дороге со станции, и теперь пришло его время. Да и Насточка ждет. Досадно, что сестры Нинки не было дома, и он не знал, будет ли вечеринка у Суботков, в чью просторную избу собиралась молодежь с гармонью. «А где же Нина?» — спросил он, натягивая на крутоватые плечи сатиновую сорочку с белыми пуговицами по воротнику. Был он парень ничего себе с виду, высокий и краснощекий, имел девятнадцать лет от роду, мечтал о скорой военной службе и недавно вступил в комсомольскую ячейку. «А у Суботков», — сказала мать. «Что, танцы?» — «Какие танцы — начальник из района приехал, собрание идет. И отец там, и Нина». Собрание так собрание, подумал Егор, собраний в то время хватало, почти каждую неделю шли в деревнях собрания. И все-таки он недовольно поморщился, причесывая перед зеркалом мокрые вихры. Странным образом с опаской почувствовал, что то собрание может нарушить весь его сегодняшний план.

И в самом деле предчувствие его не обмануло. То собрание не только разрушило его ближайшие намерения, но и переиначило всю его последующую жизнь.

Не успел он дохлебать свой суп на разостланной свежей скатерке, как в избу, запыхавшись, вбежала Нинка. Неуклюже завозился в дверях и еще кто-то, кого в вечернем сумраке не сразу можно было и узнать. Но узнав, Егор точно понял: за ним. Это был сельсоветский секретарь Прокопчук, который сразу, с порога, озабоченно заговорил: «Вот хорошо, застал. А то Нинка говорит, в Старовку браток побежит, так это, понимаешь, нужда есть в тебе...» — «Ну?» — «Такое ну — надо после собрания председателя РИКа в район отвезти...»

Егор готов был возмутиться, но сдержался, смолчал. Лишь с обидой подумал: приехал из лесу, не успел поесть, завтра выходной, Насточка... Помолчав, раздосадованно бросил: «А он что — безлошадный?» — «Не безлошадный, но возчик его подупал, ехать не может». — «А, подупал!» — понимающе хмыкнул Егор. «Ну набрался, спит у Залевских. Так что выручай, ты же комсомолец...»

О том, что он комсомолец, Егору напоминали не впервые, и это всегда значило, что он что-то должен: или услужить кому, или подежурить в сельсовете, или куда-нибудь съездить. Его принадлежность к комсомолу не только ничего ему не давала, но временами, когда от него чего-нибудь требовали, даже обезоруживала, и он не находил, как отказаться. Вынужден был слушаться. Как бы то ни было, поход в Старовку теперь отменялся. Наскоро поужинав, Егор надел новую, с овчинным воротником поддевку и пошел на собрание. На дворе у Суботков стояли группы мужчин, курили; тут же, возле хлева, приткнулся синий с красными оглоблями председательский возок, над которым, укрытый попоной, жевал сено вороной конек. Егор обошел этого шустрого, наверно, не старого еще коня с белым пятном на лбу, тот подозрительно покосился на незнакомца, продолжая выбирать из возка клоки сена. Может, что-то почувствовал — нового хозяина, что ли? Или что теперь судьба свяжет их на два долгих года новой, неспокойной, полной всяческих передряг жизни?

Егор даже не зашел на собрание, постоял с мужиками на крыльце, а как только из избы хлынули во двор люди, взялся за упряжь, сложенную тут же, в передке возка. Он запряг коня, чувствуя некоторую неловкость оттого, что брался за чужое дело, и все поглядывал через плечо на крыльцо, где в окружении мужиков появился председатель райисполкома Заруба. Этого Зарубу Егор видел всего несколько раз — на собраниях в деревне да однажды в районе возле столовки, разговаривать же с ним ему не приходилось. И теперь, как только Заруба подошел к возку, Егор скромно поздоровался и начал выезжать со двора.

Ехали оба молча. Заруба, спрятав крупное лицо в воротнике черного полушубка, по всей видимости, еще не отошел от запальчивых выступлений мужиков на собрании. Егор молчал тем более — хотя бы из уважения к высокому начальству. Конь, наверно, отдохнул, подкормился и споро бежал уезженной полевой дорожкой. Егор не погонял его, лишь изредка легонько подергивал ременные вожжи.

Тем временем зимний вечер перешел в ночь, по обе стороны от дороги в морозном тумане лежали заснеженные поля, перелески, потом начались мрачноватые дебри Голубяницкой пущи, и Егор озабоченно подумал, где же он заночует сегодня? Ни домой, ни в Старовку, наверно, уже не попасть, ночлег надо будет искать в местечке. Правда, там был один знакомый, примак[[6]](#footnote-6) из его деревни, но жена примака не очень жаловала таких вот ночлежников. И Егор подумал, что к примаку не пойдет. Тогда куда же?

Он так ничего и не решил на лесной дороге, а, когда выехали в поле, Заруба тихо обронил: «Тут повернешь налево». Егор потянул вожжу, и конь послушно свернул на боковую дорожку, в ложбину, за которой, помнил Егор, протянулись по косогору избы длинной деревни Кандыбичи. Там же был сельсовет и школа в бывшем панском имении.

Когда они въехали на деревенскую улицу, кое-где в избах еще светились окна, но постепенно одно за другим гасли — было, наверно, за полночь. Заруба не сказал, куда править, и Егор, отпустив вожжи, дал волю коню. Тот тупал-тупал и наконец остановился под огромным деревом возле длинного здания школы. На ее углу от близко к стеклу придвинутой лампы тускло светилось замерзшее окно. Заруба тяжеловато выбрался из возка и негромко постучал в стекло. Потом он пошел за угол и пропал, ничего не сказав Егору, который с вожжами в руках остался сидеть в возке. Сидел, однако, недолго — из-за угла появился человек в наброшенном на плечи тулупе, с фонарем «летучая мышь». Он подал Егору знак заезжать, добавив: «Распрягай. Лошадь — в сарай, пусть кормится». И пошел в дом. Ощутив легкое недоумение, Егор распряг коня, завел в темный сарай, прибрал упряжь и остался стоять во дворе, не зная, что делать дальше. Кажется, ехали в местечко, а приехали в Кандыбичи. Хотя начальству виднее. Если его отсюда отпустят домой, то часа за два он дойдет до Старовки. Насточка, может, еще не спит.

Однако не отпустили.

Вскоре приотворилась дверь, и все тот же человек в тулупе позвал его в дом. Егор прошел за ним через пустой темный зал и очутился в тесной, жарко натопленной комнатке, освещенной стоявшей на подоконнике лампой. Свободный от бумаг конец стола занимали тарелки с какой-то закуской, а на полу возле голландки вовсю паровал самовар. В гимнастерке, без пояса, с орденом на груди сидел за столом Заруба, пил чай. «Ну, чайку попьешь, погреешься?» — спросил он Егора и кивнул хозяину, немолодому, плоскогрудому человеку с подстриженной бородкой: «Парень из Липовки». — «Из Липовки? — удивился хозяин. — А чей же там будешь?» — «Азевича», — скупо ответил Егор. «Азевича? — еще больше удивился хозяин. — Гляди, какой вырос! Когда-то с твоим отцом в армии служили. Честной человек, трудяга. Земли только имел маловато. Три десятины, да?» — повернулся он к Егору. «Три», — подтвердил Егор. «Ну а ты учился? Сколько классов окончил?» — «Четыре», — сказал Егор, немного смешавшись от внимания этих людей, которое неожиданно переключилось на его персону. Заруба тем временем допил свой чай и сказал: «Молодой, грамотный, возчиком хочу взять. В исполком. Пойдешь?» — и вперил в Егора тяжеловатый взгляд из-под черных, густо нависших на глаза бровей. Для Егора все это было неожиданностью, он не знал, как ответить председателю исполкома, хотя его предложение чем-то и обрадовало. Но одновременно несло и тревогу. «Так я... Не знаю. Если бы... Но ведь хозяйство...» — «Ну с хозяйством и отец управится. Опять же сплошная коллективизация грянет, так что соглашайся».

Это были мучительные минуты, решить сразу Егор ничего не мог. Проницательный Заруба, наверно, понял, что происходило в душе у парня, и не стал требовать окончательного ответа. Он о чем-то заговорил с хозяином, как понял Егор, учителем этой школы, которого называл Артемом Андреевичем.

Егор выпил стакан чаю с сушками, и Артем Андреевич отвел его в третью, темную комнату с лежанкой у стены, сбросил с себя тулуп, отдал ему укрыться. Когда за ним затворилась дверь, Егор стащил с ног сапоги, со страхом подумав, как бы не отвалилась подошва, и, не раздеваясь, вытянулся на старой твердой лежанке. Какое-то время еще вслушивался в негромкий мужской разговор за дверью, потом уснул — словно провалился в небытие. В тот раз ему ничего не приснилось, только вдруг показалось, что проспал, и он вскочил, не сразу поняв, где находится. В намерзших окнах стояла ночная чернота, в соседней комнате было тихо, наверно, председатель с хозяином тоже где-то спали в этом большом панском доме, который теперь заняли под школу и учительские квартиры. Впрочем, учителей тут, наверно, было немного, школа считалась начальной — на четыре класса. В комнате было холодновато и темно, но Егор почувствовал, что скоро настанет утро. Надо было досмотреть коня да собираться в дорогу. Он вышел из комнаты и в соседней встретился с хозяином, который тихо сообщил, что Заруба еще отдыхает, но через час будет вставать. А пока Егор может напоить коня, ведро и вода в сенях.

Он напоил Белолобика, который уже стал привыкать к нему и не косился, как прежде. Это был неплохой конь, кажется, нездешнего завода, похоже — кавалерийский. Во всяком случае, выглядел куда красивее, чем их крестьянские доходяги, ухаживать за таким было одно удовольствие. Но ведь там, дома, остался его Воронок... Голодным стоять не будет, отец досмотрит, а все-таки в душе у Егора шевельнулась жалость к его трудяге — что с ним будет потом? Конечно, Егор уже решил принять предложение Зарубы работать в исполкоме возчиком. Все-таки в местечке жизнь — не то что в деревне, опять же — культура. Да и будут платить, наверно, какое-то жалованье, не придется рвать кишки на деревенском хозяйстве. Тем более если сплошная коллективизация. А дома Нинка возьмет примака, хотя бы Миколу Савостеню, который уже набивался ей в женихи. Конечно, жених из него незавидный, но работать будет. Тем более что сестра Нинка, словно мурашечка, — круглый год в работе, от темна до темна, за весь день не присядет, бывало. Все хлопочет, заботится...

Вскоре поднялся и Заруба. Опять попили чайку и, поблагодарив хозяина, проводившего их до ворот, поехали. Егор слышал, как на приглашение хозяина заезжать Заруба ответил из возка: «В четверг, пожалуй. Если в Полоцк — не поеду».

Для Егора Азевича началась новая, даже интересная жизнь в районе. Поначалу, правда, все ограничивалось привычными заботами о лошади: запрячь-распрячь, напоить теплой водой, накормить. Иногда приходилось подремонтировать упряжь. Как-то утром во время чистки Белолобика обнаружил, что седелка натирала хребет, и обновил войлок на седельной подушке. Попутно начал присматриваться к порядкам и людям, обитавшим возле него в исполкоме. В исполкомовской конюшне, кроме Белолобика, содержалось еще три лошади, которых обслуживали три возчика-конюха. Почти все дни недели они находились в разъездах, Азевич видел их мельком — рано утром или поздно вечером. Это были взрослые, пожилые дядьки, а один из них, степенный седобородый Волков, еще до революции работал извозчиком. Рассказывали, что, когда у него хотели реквизировать лошадь, он, чтобы не отдавать ее в чужие руки, сам вместе с лошадью пошел на реквизицию и теперь пятый год возит заведующего райзо[[7]](#footnote-7). Говорили, хороший возчик, только не активный, не любит сидеть на собраниях, где табачный дым и болтовня, предпочитает конюшню, чтобы возле своего рысака.

Егору же, напротив — полюбились собрания. Обычно где-нибудь в деревне, устроив во дворе Белолобика, садился в избе у порога и внимательно слушал все, о чем говорилось. Особенно нравились ему выступления предисполкома Зарубы. Услышав его впервые в Стадолищах, Егор удивился. Обычно неразговорчивый днем, даже молчаливый, председатель преображался вечером на собраниях и особенно, когда выступал с речами. Начинал, как обычно, — с гневного поношения царского режима, говорил резко и громко, затем, переходя к перспективам колхозной жизни, заметно сбавлял тон, голос его обретал теплоту и сердечность. Заканчивал снова на решительных нотах, разоблачая врагов колхозного строя, кулаков и подкулачников, что почти всегда вызывало аплодисменты — негромкие, разрозненные хлопки нескольких, наверно, наиболее сознательных мужиков и баб. Егор тоже хлопал, может, дольше и громче других, думая при этом: вот кабы мне научиться так выступать — громко и складно.

Конечно, он еще не умел ни долго, ни складно, но не терял надежды научиться. На собрании местечковой комсомольской ячейки, принявшей его на учет, как-то пришлось выступить, и так это получилось у него нескладно, так было трудно, что он вспотел, пока вытиснул из себя несколько общих фраз об обязанностях комсомольца в деле сплошной коллективизации. А потом и вовсе отнялся язык. Хорошо, что тут же вскочил кто-то из более бойких, он сел, а одна комсомолка, со светлой высокой стрижкой, обернувшись, по-хорошему улыбнулась ему, тихо шепнув: «Ничего, ничего». Как потом узнал Егор, это была Полина Пташкина. Она тоже выступила на том собрании — вдохновенно, по-боевому, не по-девичьи резко; у парней да и у девчат горели глаза от ее мобилизующего выступления. Вот это молодец, подумал Егор, разве так может его Насточка, да и он тоже? Наверно, следовало подтягиваться, учиться, овладевать комсомольскими знаниями, как это и подобало передовой сельской молодежи. После собрания он взял себе за правило каждое утро прочитывать небольшой листок районной газетки «Путь коммунизма», стопка которой два раза в неделю клалась на стол в приемной председателя райисполкома.

Егор ночевал в соседней комнате на двух сдвинутых столах, поднимался рано, поил Белолобика, и, пока не приходила секретарша Римма, у него было немного свободного времени. Если не успевал прочесть всю газету, то обязательно прочитывал хотя бы передовицу, из которой узнавал о главных делах и главных задачах района. Главным делом, конечно, была коллективизация, темпы которой то и дело оказывались под угрозой срыва.

Обычно с утра Егор знал, что сегодня предстоит неблизкая дорога — в три или четыре деревни, не меньше. Если до поездки оставалось время, бежал через улицу в столовую — талоны ему уже выдали. Но в столовке он только завтракал, обедал же или ужинал где придется. Где Бог пошлет. Иногда перепадало и неплохо, даже с чаркой, если останавливались у добрых людей, иногда же весь день были голодными. Возвращались в местечко поздно, столовка уже была закрыта. Егор задавал корму лошади и сдвигал столы, на которых и укладывался, натянув на плечи куцые полы поддевки.

Может, на второй неделе его службы в исполкоме случилось то, чего он ждал и боялся: оторвалась подошва. Оторвалась как раз утром, как он нес теплое пойло в конюшню. Он попытался как-то приладить ее, подвязать бечевкой, но не успел этого сделать, как в приемную вошел Заруба, все понявший с первого взгляда. «Ты вот что, — сказал он. — Иди сюда». Прихрамывая, Егор вошел за председателем в его кабинет с широким столом, застланным кумачовой скатертью, поверху которой блестело большое стекло, и председатель что-то написал на клочке бумаги. «Вот, пойдешь в артель, спросишь Исака. Отдашь ему это». — «А запрягать?» — «Запрягать сегодня не надо. Поедем завтра», — сказал Заруба и повернулся к стене, где под портретом Ленина висел черный телефонный аппарат, принялся вертеть ручку.

Егор уже знал, где находится сапожная артель, и потихоньку побрел наезженной снежной улицей к огромному зданию синагоги. За длиннющим столом в просторном помещении сидело человек десять сапожников — стучали молотками, шили дратвой, курили махорку и непривычно громко разговаривали. Первым, кто обратил внимание на вошедшего, был густо обросший бородой старый еврей, который повглядывался в него покрасневшими глазами и кивнул на его «добрый день». Егор спросил, кто будет Исак, и достал бумажку. Седобородый, не убирая с колен ботинок, протянул за ней руку. «Во тут товарищ Заруба написал...» Сапожник поправил на носу очки и вытянул руку с бумажкой. «Сейчас мы прочитаем, что пишет товарищ председатель РИКа, — произнес он с важностью. — Ага, все ясно. Скидывай сапог, будем смотреть, как там дела». Егор присел на конец скамьи и стащил с ноги злополучный сапог, неловко придерживая грязную портянку. «Ай-яй-яй! Тут работы на день. Надо новую подметку. Да и союзки...» — «Союзка будто целая», — несмело вставил Егор. «Ага, целая! Вы на него посмотрите: он говорит, целая! А за что ее подбить? Или она будет на честном слове держаться?» — «Исак, а ты ее за язык подцепи», — язвительно сказал кто-то из сапожников, другие охотно засмеялись. «Исаку что, Исаку не жалко... Если Заруба пишет, так я из его фонда. Хотя того фонда осталось на пару сапог...»

Исак решительно вывернул наизнанку голенище, надел сапог на железную штуковину, которая у сапожников называется «лапой». Его большие черные руки быстро замелькали над сапогом. Ловко делая свое дело, Исак все приговаривал что-то, отбиваясь от незлобивых шуток сапожников, то и дело бросая лукавые взгляды на примолкшего клиента. «А ты что — в исполкоме служишь? Ага, возчик. Так возчиком же Довнарский был? Уволили, говоришь? Правильно, давно надо было уволить, потому что пьяница. А сам откуда родом? Из Липовки? А живешь где? Или в примаках у кого?» — «А ты, Исак, может, хлопца сосватать думаешь?» — поднял от стола белобрысое лицо крайний сапожник. «Могу и сосватать, а что? У меня рука легкая, зато жизнь тяжелая... Что, в исполкоме ночуешь? Э, так не годится». — «Вот и взял бы к себе. Твои же учителя съехали», — сказал кто-то с другого конца стола, и Исак во второй раз внимательно посмотрел на Егора. «А что думаешь, могу и взять. Холостого-неженатого почему не взять. Если понравится». — «Было бы неплохо», — смутился Егор. «Тогда приходи вечерком, вон второй дом под гонтом[[8]](#footnote-8)», — кивнул Исак на окно. Егор выглянул на улицу, где на пригорке между двумя липами вытянулась длинная постройка под гонтовой крышей.

Егор почувствовал себя почти счастливым, когда минут через двадцать Исак со стуком поставил перед ним на полу готовый, отремонтированный сапог с новой подметкой и узкой полоской заплатки. Он обулся в справный сапог, поблагодарил. А Исак уже колдовал над натянутым на колодку ботинком. «Так вечерком. Вход со двора. В парадном не принимаю — революция отменила», — пошутил он на прощание.

Вечером, задав корма лошади, Егор отправился смотреть квартиру. Дом нашел сразу — между двумя липами серело в снежных сумерках приземистое здание, он вошел во двор и долго бродил там в поисках входа. Здесь было целое нагромождение различных пристроек, сарайчиков, кладовок и времянок; наверно, когда-то в доме жила большая семья или даже несколько семей. Теперь же в стене едва светилось одно окошко, в которое Егор тихонько постучал пальцем. Видать, его ждали — сразу же рядом растворилась дверь, на пороге стоял Исак.

Егор не ошибся: во всем этом огромном доме проживал один его бывший хозяин, другие помещения пустовали, в том числе и то, что имело отдельный вход и куда привел его Исак. Было темно, уличного света едва хватило, чтобы Егор оценил жилье, где ему предстояло поселиться. Это была огромная, как рига, комната без мебели, лишь с сундуком при входе, с низким потолком и тремя небольшими окошками на улицу. Холодина тут стояла такая, что был заметен пар изо рта при разговоре. Но выбирать не приходилось. Конечно, в исполкоме было теплее, но там удобно было разве что переспать до утра. На сундуке валялась какая-то дерюжка, вроде лошадиной попоны, на которую Егор и присел, давая тем понять, что помещение ему подходит и он остается. Разговорчивый Исак, однако, не торопился уходить и все рассказывал, как летом тут квартировали учительницы, как им было удобно с отдельным входом, а до революции комнату занимала сестра Голда с детками и старый золотарь Ёхель, которого застрелил болоховец. Племянники же, как подросли, не пожелали тут жить и подались в белый свет — им, видите ли, стало тесно в родном местечке. Их потянуло в город, к классовой борьбе. Очень уж полюбили классовую борьбу, записались в комсомольцы, а вот он, Исак, всю жизнь шьет сапоги. Вернее, сапоги шил до революции, теперь же ремонтирует разные развалюхи-опорки, потому как шить новые не из чего — нет товара. А ведь он — мастер. Когда-то начинал у сапожника в Варшаве, учился двенадцать лет, дольше, чем теперь готовят учителя для школы, имеет диплом с гербами, шил фасонные сапоги-бутылки для самого пристава, а теперь зашивает дыры на бабских бахилах. Но он не жалуется — такое время. А Ёхель никогда уже не увидит даже зеленой травы, так что, в общем, Исаку стоит позавидовать. Может, и племянники ему позавидуют, потому что еще неизвестно, до чего доведет их классовая борьба. Может, до сумы, а может, и до тюрьмы.

### 3

Азевич проснулся неожиданно, вдруг и не сразу понял, где он оказался. Вокруг было тихо, только шумел на ветру сосняк. Азевич сильно озяб, поначалу даже не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. С усилием заставил себя подняться и тут же снова опустился на колючую от хвои землю. Подумал, что сон в его положении — не отдых от страшной действительности. Скорее, наоборот. Особенно вот такой — сон-напоминание, возвращавший его в неприютное, безрадостное прошлое, которое давно уже не было для Азевича душевной усладой, а было непреходящей, каждодневной болью. Он не любил ворошить его, это прошлое, тем более переживать снова. Даже теперь, когда шла война и многие мелочи довоенного времени вполне могли показаться лучшими, чем были на самом деле. Даже способны были вызвать умиление.

В хвойной чаще было еще светло, но чертовски холодно. И Егор опять стал дышать себе под шинель, греть за пазухой вконец озябшие руки. Привидевшийся во сне Заруба навел его на мысль о Войтешонке, с которым они вместе работали в районе, и Азевич вспомнил, что тот родом из здешних мест. Из деревни Завишье, которая где-то здесь, неподалеку. Хромого Войтешонка в армию наверняка не взяли, живет себе в отцовском доме, и война ему — не война. Войтешонок должен отнестись к нему дружески, обижаться на него у Войтешонка вроде причин не было. Когда-то, старший по возрасту, Войтешонок кое в чем помогал молодому Азевичу. Накануне войны их дружба прервалась по причине ареста Войтешонка, которому, однако, повезло: после полугодовой отсидки его освободили. В райком он, разумеется, не вернулся, перебрался из местечка в родное Завишье и продолжал прерванное комсомольской и партийной работой учительство в школе. Правда, ему не повезло с семьей: вскоре после его ареста жена отреклась от него как от врага народа. Но, как говорили люди, Войтешонок зла на нее не держал. Может, женился снова или живет с родителями, этого Азевич не знал и думал теперь: надо идти в Завишье.

Он выбрался из сосняка в поле и огляделся. Дорога была рядом — старый, разъезженный большак, обсаженный березами. Эту дорогу он узнал сразу — когда-то поездил по ней от деревни к деревне, особенно в годы коллективизации, да и после, до самой войны. Дорога спустится в ложбинку, там будет мостик, а потом, через каких-нибудь пару километров, и Завишье — большая деревня над озером. Правда, в Завишье он давно уже не был, но, где живет Войтешонок, хорошо помнил — в начале тридцатых годов нередко там ночевали — вместе с Евгеном, один или с кем-нибудь из районного начальства. Родители у Войтешонка были неплохие люди, мягкие и обходительные, отец любил поговорить о жизни и политике, мать, помнил, работала уборщицей в школе.

Теперь Азевич не пошел по дороге — перескочил через канаву и пошагал придорожной стежкой за рядом старых берез. Так ему была видна вся дорога — впереди и сзади, его же можно было увидеть только вблизи. Мелкий снежок то мелькал на ветру, то переставал, исчезая где-то в облачной выси; дорога поблизости и тропинка возле берез, в общем, были сухие. Навстречу ему никто не попался. Когда дошел до околицы, начало быстро темнеть. Чтобы не идти улицей, Азевич свернул за изгородь на огороды. Пока брел возле пруда да перебирался через ограды и межи, и совсем смерклось; уже почти в темноте он перешел мокрую околицу с болотцем и приблизился к усадьбе Войтешонка. В огороде возле погребца остановился, перевел дыхание, все-таки немного опасаясь, как его примет Войтешонок. Во дворе за изгородью, кажется, никого не было. В двух окнах, выходивших на огород, было темно, может, и в избе никого не было. Азевич помнил, что у Войтешонка были две сестры, но где они жили теперь, Азевич не знал. Какое-то время он не выходил из-за погребца: стоял, приседал, вслушивался. Где-то в другом конце деревни лениво лаяла собака, а так все было тихо и безлюдно. И он решился: тихо пошел к избе. Не сразу нашел калитку из огорода, которая была плотно притворена и взята на крючок со двора. Перегнувшись, он с трудом отворил ее и, не прикрыв, шагнул во двор. Крыльцо, как он помнил, было с другой стороны, за углом. Скоба на двери не поддавалась, наверное, дверь была закрыта изнутри. Выждав, он тихонько постучал три раза, подождал, уловив какое-то движение в избе. И в самом деле, дверь скоро раскрылась, на пороге в сумраке стоял старый отец Евгена, Азевич его сразу узнал и поздоровался. Однако тот промолчал, не сходя с места и, наверно, не узнавая гостя.

— Евген дома?

Старик все молчал, и Азевич напомнил:

— Азевич я. Когда-то с Евгеном вместе работали. В райкоме, — напомнил он...

Старик шире раскрыл дверь, и он ступил через порог в глухую темень сеней, растопырив руки, прошел за хозяином в избу. Здесь было почти так же темно, как и в сенях. Старик пододвинул ему какой-то стул, и он сразу сел, чтобы в темноте на что-нибудь не наткнуться.

— А где же Евген?

— Должен приехать. Как съехал поутру... — сказал старик, взглянув в светловатое, без занавесок окно.

— И далеко?

— Да в местечко. Зерно повез...

— Вот как! Налог или на продажу?

— На сдачу. Немцы обложили. Как и советы, бывало. Надо сдавать.

Наверно, надо, подумал Азевич. То, что он не застал Войтешонка, немного огорчило его, но он утешился мыслью, что тот, возможно, скоро появится. В избе было тепло и покойно, больше нигде никого не было слышно, и он хотел спросить старика про его дочерей. Но тот перебил его собственным вопросом:

— А вы теперь из местечка или как?

— Нет, не из местечка, — сказал Азевич. — Из местечка уже давно.

Пожалуй, надо было сообщить о себе и еще что-то, но Азевич пока воздержался. Непростое это дело — рассказывать о себе. Да в такое время. Кто знает, какие у этих Войтешонков отношения с немцами. Об их отношениях с советами Азевич знал хорошо, и это также вынуждало его к осторожности.

— А Евген что — все дома? По хозяйству? — помолчав, спросил он.

— По хозяйству, а где же. Школа закрылась, нету школы. Так огород убрал, лошадь вон заимел. Колхозную. Разобрали колхозники, осталась последняя. Военная, обозники бросили. Без лошади, известно, — нельзя в хозяйстве.

— Без лошади невозможно, — согласился Азевич.

— Так он возле лошади, словно возле ребенка. Оно, конечно, в парнях не натешился, все на казенной работе. А потом — в школе.

— Тогда не до лошадей было — служили.

— Служили. Советской власти служили. Что заслужили только? — закончил старик вопросом.

Заслужили немного, согласился мысленно Азевич. И еще что заслужат, неизвестно. Кто — лошадь, а кто, может, пулю. Как многие. Может, некстати, но теперь и он вспомнил своего Белолобика, с которого начиналась его служба в районе. Тоже любил лошадь, ухаживал, старался. Лошадь и вывела его в люди. В добрый ли час только?

Евген приехал нескоро, уже совсем ночью. Старик не зажигал лампу (может, не было чем). Они все сидели в темноте, изредка переговариваясь — чтобы не молчать, когда во дворе застучали колеса и раздалось знакомое «тпру-у-у». Послышался и женский голос, — наверно, Евгенова сестра. Старик поспешил во двор, Азевич выглянул в окошко, возле которого уже стояла повозка. Хромой Евген вылез из нее и, топая возле лошади, слушал рассказ отца; младшая сестра Евгена Зоська снимала с воза какие-то узлы. Потом они вошли в сени, а старик принялся распрягать лошадь.

Азевич отошел от окна.

— Ну, привет, — негромко сказал Евген, переступая через порог.

— Здоров, браток, — откликнулся Азевич.

Поздоровалась и Зоська, сразу же подавшаяся куда-то в другую половину избы.

— Как и откуда? Какими судьбами? — спросил Евген, судя по всему, несколько удивленный этой неожиданной встречей.

— Да вот завернул по дороге...

— По дороге? Ну что ж... Это хорошо, если по дороге. А я из местечка. Как поехал с утра, так вот на весь день. Ячмень возил.

— На сдачу?

— На сдачу. За три хозяйства шесть пудов. Немцы наложили такой налог. Что поделаешь, надо отдавать.

— Если есть чем.

— Да нашлось. Все-таки колхозный ячмень сами убрали. И разделили. Запаслись. Не то что в колхозные годы.

Евген опустился на скамью, подвинул стул Азевичу.

— Садись. Может, не очень спешишь?

— Да как тебе сказать, — смешался Азевич.

— Так хоть поужинаем. Все-таки друзья были. Сколько не виделись? Года четыре?

— Четыре, да.

— Ну. Я же в этой школе три зимы проработал. Значит, четыре, как из райкома.

Как из райкома — четыре, посчитал и Азевич. Да месяцев восемь побыл под арестом. Пока не выпустили. Азевич все дрожал, чтобы не взяли его самого — за связь.

— Ну так как живется? Под новой властью? — немного освоясь в чужой избе, спросил Азевич.

Евген, не ответив, поднялся, негромко окликнул сестру:

— Нам в боковушку чего перекусить...

— Туда? Хорошо...

Сестра зажгла под потолком лампу с закоптелым стеклом, убавила огонь, чтобы меньше выгорало керосина, и принялась собирать ужин. Евген повесил на гвоздь телогрейку, помыл в углу руки, предложил помыть и Азевичу. Тот, однако, мыть руки не стал, не стал и раздеваться. Он только начал согреваться в шинели после недавней стужи и не хотел растратить уже накопленное в избе тепло. И все внимательно следил за движениями, жестами, словами и даже оттенками голоса своего недавнего друга, стараясь определить его отношение к себе. Наверно же, Евген знал или хотя бы догадывался, откуда появился Азевич в этот вечер. Но ничего подозрительного в его поведении Азевич заметить не мог. Было похоже, что тот мало интересовался гостем. Или полагал, что тот сам о себе расскажет.

Прошло немного времени, и они уже сидели в темноватой боковушке с диваном и небольшим при нем столиком. Лампа из соседней комнаты тускло светила через открытую дверь. Стол был в тени, на нем белели пустые две тарелки, тарелка с салом и хлебом. Перед тем как сесть к столу, Евген куда-то исчез и, привычно прихрамывая на левую ногу, вернулся с бутылкой и двумя стаканами.

— Вот, за встречу. А ты, может, бы разделся?

— Нет, знаешь, прозяб...

— Ну, тогда погреемся!

Он налил два полных стакана, один пододвинул Азевичу, и они молча выпили, стали закусывать огурцами.

— Смотрю, вроде неплохо живешь, — помедлив, сказал Азевич.

— Да уж как есть, — неопределенно отозвался Войтешонок. — Лучше не получается.

— В такое время...

— В такое время недолго и загреметь. На тот свет. Вон в местечке Свирида из райфо[[9]](#footnote-9)... Ты же знал его, наверно? Вчера повесили.

— Свириду?

— Ну.

— А братья Фисяки?

— А что Фисяки? Фисяки служат. В полиции. Стараются. Сами вешать будут.

Азевич ненадолго примолк, обескураженный смертью Свириды. Когда формировали партизанский отряд, этого Свириду не взяли: возражал Витковский. Мол, бухгалтер, беспартийный и вообще мало разбирается в политике. А вот в чем-то разобрался.

— А я вчера Городилова схоронил, — сказал Азевич.

— Убили?

— Помер. Простудился и помер.

— Знаешь, все перемешалось. Свириду повесили, а Дашевский вернулся.

— Ну? Вернулся? Он же в армию пошел.

— Пошел. Попал в окружение и вернулся. И уже руководит районной управой. Не гляди, что был первым секретарем райкома. Доверили.

— Удивительно! Как же так?

— А вот так. Когда меня посадили, он первым отреагировал. Будто я враг народа и так далее. Топил, как только мог. Смотри, и теперь топить будет.

— А тебя немцы... Не трогают?

— А за что меня трогать? Я с лесом не связан, саботажем не занимаюсь. Опять же я пострадал от большевиков. Это сейчас учитывается.

— А к себе не вербуют?

Евген помедлил с ответом, налил еще в стаканы.

— Было. Вот и сегодня в местечке. Приглашали в управу.

— Ну?

— Нет, я инвалид. Не имею здоровья. И немного пожить хочу. Для себя лично.

— Если бы это было можно — для себя лично, — вздохнул Азевич.

— Мне еще можно. Вот тебе нельзя. О тебе в районе известно, что ты в лесу. У Витковского. Тебе, конечно, теперь одна дорога.

Азевич неприятно поморщился, настороженно застыв от стука дверей в сенях. Но это пришел старик, звякнул ведрами. Евген повернул голову.

— Тата, ты это — подожди поить. Пусть постоит еще.

— Пусть постоит. Я не сейчас...

— Да. А то... Быстро ехали, вспотел. Ну так возьмем понемногу?

Они еще выпили — охотно Войтешонок и без особой охоты Азевич. Он давно уже не пил водки, и теперь у него непривычно закружилась голова, стало неприятно и тревожно.

Может, не надо было заходить к Войтешонку. Ну а куда заходить? Нет, все же его бывший друг не такой, как может показаться, он не выдаст. Если бы только его можно было сагитировать на борьбу!

— Колхоз развалился? — спросил он, чтобы не касаться личного, не очень приятного Войтешонку.

— С первого же дня, как наши отошли. Разделили землю, скотину. Урожай собирали единолично. Молотили каждый себе. Правда, было негде — гумен же мало осталось. Мы в тристене[[10]](#footnote-10) кое-как обмолотили.

— А заготовки?

— Заготовки само собою. Как и в колхозе. Сдали, и еще осталось.

— И много осталось?

— Да больше, чем при колхозах. Можно сказать, этот год мужики с хлебом будут. Не то что когда-то: триста граммов на трудодень. Вон в том году отец коней пас, Зоська в полевой работала. Пошел на окончательное распределение — принес в торбочке. Заработок за год.

— У вас бедный колхоз, — сказал Азевич.

— Бедный. А где он — богатый? «Пограничник»? Ну там побогаче, потому что земли получше. Там на трудодень по полкило вышло. А у остальных?

Разумеется, жили не богато, бедно жили, хлеба хватало только до весны. Картошки тоже. Но это тогда мало заботило начальство, гораздо больше — выполнить план, поставки, выплатить налоги, самообложение, заем. Считалось, что крестьяне как-нибудь прокормятся — с огородов, от коровок. Первой заповедью было обеспечить город, исполнить свой долг перед государством.

— Но кто же воевать будет? — сказал Азевич. — Или так и останемся под немцем?

— А это уж как хотите. Мне, например, и под немцем неплохо. Может, получше даже.

— Вот как! — вырвалось у Азевича.

— А что? Что я заслужил у Советов? Работал как проклятый в райкоме, ночей не спал, недоедал, мотался по району. Коллективизация, индустриализация, классовая борьба. А что заработал? Тюрьму. Знаешь, как меня там били? Резиновым шлангом по почкам, карандаши между пальцев затискивали. Да еще признавайся им черт знает в чем. Что в организации белорусских фашистов состоял. Нигде я не состоял — я был честный большевик. Бедняцкий сын. Инвалид с детства.

— Однако выпустили.

— Выпустили? А как выпустили? Испаскудив тело и душу, выпустили. Они же меня в сексоты подписали.

Азевич удивился — не тому, что Войтешонка завербовали в сексоты, а что тот говорит об этом. Никогда никто и нигде ему в том не признавался, а этот, гляди, признается. Впрочем, теперь чего уж бояться? Теперь бояться было нечего — Азевич ни с какой стороны не представлял для него опасности.

— Так что, видишь, я агент НКВД. А ты, может, тоже агент? — вдруг спросил Войтешонок, уставясь в него взглядом.

— Нет, что ты...

— Конечно, ты не признаешься. А мне почему не признаться своему человеку? Я же — не немцу, правда? — улыбнувшись, закончил Евген.

— Я все-таки думал, что ты человек надежный. Помню, как работали...

— А я и надежный. Не бойся, не выдам. Не побегу к Дашевскому. Но и листки ваши на стенах клеить не буду. Вон в Залесье поклеили — ребята из семилетки. Теперь сидят в подвале, в полиции. Матери ревут, рвут на себе волосы: постреляют ребят. Борцы называется!

Азевич напряженно размышлял, стараясь что-то определить в Евгене, хотя его друг в общем становился ему понятен: обжегся на советской власти. По своей ли вине или по чужой — неизвестно. Но, по всей видимости, теперь их пути окончательно расходились. Евген останется — хозяйствовать на отцовском подворье, ухаживать за лошадью, кормить кур и свиней. Вернется к истокам, в крестьянскую жизнь, которой недобрал в молодости. Что ж, может, это не так и плохо. Ну а вот Азевичу из объятий войны, наверно, не вырваться, война вцепилась в него, как злой пес, — зубами и когтями.

— Знаешь, Евген, — сказал он. — Позволь мне спрятаться у тебя. На какую неделю.

— Спрятаться? — переспросил Евген и вслушался. В боковушке были слышны шаги, это прохаживался по избе отец, а так всюду было тихо. — Нет, не могу. Прости, но не могу.

Он встал со стула, прошел в другую половину, но скоро вернулся с портсигаром и спичками.

— Закуришь? Нет? Ах, да ты же и тогда не курил. Не научился... Знаешь, не могу я тебя прятать. Если что — подумаешь: выдал. Опять же у меня отец, сестра. Ведь я за них в ответе. Так что ты уж где-нибудь в другом месте. У какого-нибудь активиста. Я, знаешь, уже не активист.

— Не активист, — скупо подтвердил Азевич.

— Хлеба, ну там продуктов — это пожалуйста. Это теперь мы имеем. Ешь и с собой бери. А прятать — извини.

Он враз поскучнел от непосильной для него просьбы Азевича, как, наверно, и оттого, что вынужден отказать другу. Азевич тоже опечаленно нахмурился. И что ему теперь делать? Где переночевать? Даже если его здесь оставят до утра, как утром уйти из деревни? Увидят — узнают. Так что, пожалуй, надо прощаться, думал Азевич.

— Ну что ж, спасибо за ужин, — сказал он, давая тем понять, что собирается уходить, и тая слабую надежду, что, может быть, Евген еще передумает, начнет уговаривать остаться. Хотя бы на ночь. Но Евген, похоже, не собирался передумывать и спросил о другом:

— Если не секрет, куда путь держишь?

— А вот это секрет, — грубовато сказал Азевич.

У него уже пропало желание продолжать разговор; в самом деле, надо было решать, куда податься.

— Желаю удачи! — добавил он и поднялся с дивана.

Войтешонок также встал, приподняв плечо, скособочился возле стола.

— Какая удача! Сберечь бы голову...

— Вот и береги.

Не сказав больше ни слова, Азевич вышел из избы.

Над деревней давно уже собралась ночь, глухая темнота лежала на подворье, лишь вверху, за черными кронами голых деревьев, немного светилось осеннее небо. Азевич так и не решил, куда податься отсюда, и скорее инстинктивно свернул мимо сараев в конец двора, на огороды; перелез через ограду, ввалился в какую-то яму с хворостом или сухим бурьяном на дне. Выбравшись из нее, почувствовал, что от сапога совсем отвалилась подошва. Еще чего не хватало, встревоженно подумал Азевич, оглядываясь в темноте в поисках выхода с огорода. Наткнулся коленями на колючую проволоку и, поколовшись, едва перелез через нее. На сухом травянистом лугу, за огородами, идти стало удобнее, и он решительно направился в поле — прочь от деревни.

Довольно далеко отойдя от нее в совершенной темени, оглянулся, но ничего уже не увидел — вокруг простиралось ветреное ночное поле, местами, будто солью, присыпанное по траве снежной крупой. Под ногами шуршало жнивье; по пути временами встречались одинокие полевые деревья и ничего больше. Несколько раз он спотыкался о невысокие, поросшие бурьяном межи, проложенные осенью после раздела колхозной земли, и вспомнил, каких трудов стоила когда-то ликвидация этих межей, с каким скандалом их перепахивали. А тут, смотри, как скоро они опять появились — без сельсоветов и землемеров — враз и в полном согласии. За долгие, трудные годы крестьяне так и не приучились к совместным хозяйствам. Оно, может бы, и приучились, как-то бы и пообвыкли, если бы колхоз давал хоть какую-нибудь возможность для прожитья, а то до самой войны в деревне царила сплошная нищета и голодуха. Только и спасали людей огороды, те сорок соток, с которых кормили детей, стариков да еще сдавали государству. Выполняли пятилетки. Крепили оборону. Не слишком, однако, укрепили...

Азевич стал помалу успокаиваться, отходить от обиды на Войтешонка, подумал, может, тот был и прав. Еще неизвестно, как бы на его месте поступил он, Азевич.

Но на своем — решения не находил. Не дай Бог ему попасть в руки немцев — пощады не будет. В который раз он начинал думать, что лучше всего было бы перейти линию фронта. Только где он, тот фронт? Как до него дойти? Выпадет снег, ляжет зима, а у него, как на беду, оторвалась подошва, которая так мешала в ходьбе, что заболела нога. Все время надо было ставить ее боком, поднимая повыше.

Но вот открытое поле вроде кончилось, на пути встали сплошной черной стеной густые низкорослые заросли, и Азевич минуту размышлял, в какую податься сторону. Лезть в мрачный кустарник ему не хотелось. На ветру он содрогнулся в ознобе, да так сильно, что испугался: вдруг заболеет. К тому же все сильнее чувствовал с вечера донимавшую его усталость, дыхание стало необычно горячим, в горле собиралась горечь, все время хотелось остановиться, передохнуть. Но все-таки при ходьбе было теплее, и он пошел вдоль опушки. Под ногами шуршал сухой быльник, от зарослей он держался поодаль, чтобы не залезть на сучье, не зацепиться. И все-таки зацепился за что-то в темноте и упал. Не очень сильно ударился, но поднялся не сразу, перевалился на бок в мерзлой траве, полежал минуту. Потом медленно, с усилием встал на ноги, опять побрел в поле.

### 4

...Тогда Азевич не думал, надолго или нет, но остался у Исака, начал новую жизнь в его пустой риге. Первую ночь переночевал неплохо, хотя и зверски замерз, а следующих два дня был в поездках по району — одну ночь переночевали с Зарубой в Клещевке, другую — снова в Кандыбичах. Заехать домой все не выпадало, и как-то на неделе к нему наведался отец. Приехал в исполкомовский двор, и они встретились там на конюшне. Отец выглядел необычно встревоженным, сверх меры озабоченным чем-то, может, не нравился ему столь ранний вылет Егора в люди. Он мало рассказывал о деревне, больше расспрашивал, как и что здесь, в местечке, а сам не мог согнать с лица крайней озабоченности и все трудно, протяжно вздыхал. Егор успокаивал его, как умел, да и из-за чего было тревожиться? Он среди добрых людей, возле начальства, при деле, авось не пропадет. А работа? Не труднее, чем на хозяйстве, не надо особенно рвать кишки — слава Богу, не в лесу на делянке. Всего и забот, что досмотреть коня, вовремя накормить, напоить. Но это Егор умел, был приучен с детства. Отец привез кое-что из продуктов — кусок сала, пару колбас, мать прислала пару чистого кужельного[[11]](#footnote-11) белья, наказывала приехать в субботу, попариться в бане. Но Егору было не до бани — свободного времени выпадало до крайности мало, и то, что оставалось от поездок, отнимала учеба. Три раза в неделю комсомольцы собирались в кружок ленинизма, изучали ленинские труды; на этот раз читали «Шаг вперед, два шага назад».

Не сказать, чтобы Егору все это было интересно, но он стыдился не ответить на вопрос, особенно когда спрашивала Полина. К тому времени она стала заместителем комсомольского секретаря и руководила политзанятиями. Кажется, она была старше Егора, но выглядела совсем молодой девушкой с каким-то остреньким, очень проницательным взглядом, который не то дразнил, не то как-то таинственно испытывал собеседника. И часто улыбалась. Егор тайком любовался ею, особенно когда она выступала в кружке с докладом или рассказывала про ленинские заветы. Работала она в женотделе — заместительницей заведующей Иды Шварцман.

Из районного начальства Егор знал немногих, в райком, за церковью, ни разу еще не заходил. Ему хватало райисполкома да своего начальника Зарубы, которого он почитал больше других, и, чем дольше работал с ним, тем больше к нему привязывался. Заруба был на редкость самоотверженный труженик, большую часть времени проводил в поездках — все на людях, на собраниях. О своем возчике он заботился, словно отец. Если, случалось, угощали, то он звал перекусить и возчика, если ночевали, то просил устроить на ночь и Егора. Был неразговорчив в дороге, иногда, правда, расспрашивал Егора о его деревне, и Егор скупо рассказывал. Заруба, не перебивая, слушал, вздыхал, но чувствовалось, продолжал размышлять о своем. Впрочем, размышлять предрику было о чем, особенно когда в районе началась сплошная коллективизация.

Как-то в начале Великого Поста они намеревались ехать в Вязники — самый дальний сельский совет за пущей. Заруба с вечера объявил, что выедут в восемь утра. С полвосьмого Егор уже заложил возок и стоял во дворе в ожидании предрика. Но Заруба не появлялся. Шло время, и Егор зашел в приемную уточнить, когда они выедут. В приемной были секретарша Римма и еще три или четыре райисполкомовских служащих. Из кабинета Зарубы слышался чей-то встревоженный голос, его перебивал другой, — похоже, там спорили. Секретарша и мужчины в приемной молча, напряженно вслушивались, хотя понять смысл спора было невозможно. Егор, постояв недолго, собрался было идти к своему Белолобику, как широко растворилась дверь кабинета, и оттуда выскочил низкорослый, щуплый человечек в шинели. На ходу надевая на бритую голову красноармейскую буденовку, он, будто споткнувшись, остановился перед Егором. «Ты кто?» — «Азевич», — сказал Егор. «Какой Азевич?» — «Ну возчик». — «Чей возчик?» — «Председателя», — смутился Егор под откровенно придирчиво-злым взглядом этого человека, который тут же и выскочил из приемной. Егор тоже хотел уйти, но из кабинета разом вывалилось еще несколько человек, за ними вышел Заруба. Его всегда суровое лицо с насупленными бровями показалось Егору совершенно растерянным. Предрика что-то сказал секретарше и, завидев Егора, бросил: «Распрягай, не поедем». Егор недоуменно пожал плечами и пошел распрягать. Поставил Белолобика в конюшню и, чтобы узнать, как быть дальше, снова зашел в приемную. Там он застал одну заплаканную секретаршу, которая собирала со стола бумаги и тихо сказала Егору: «Товарища Голубова арестовали. И ветврача Бутевича. И Слямзикова с льнозавода». — «За что?» — вырвалось у Егора. «За что? — подняла на него покрасневшие глаза Римма. — Не знаешь за что? Враги народа».

Егор молчал, никого из арестованных он не знал. Но если арестованные — враги народа, так что же? Тогда хорошо даже, что их арестовали. Тем более что врагов народа у них арестовывали не впервые, осенью взяли шестерых, об этом писала районная газета; а минские газеты описывали, как врагов народа разоблачили даже в правительстве. А перед тем по всем деревням раскулачивали. В его деревне раскулачили и выслали две семьи кулаков. Одну из них Егор даже помогал отвозить на станцию. Шла классовая борьба, классовый враг сопротивлялся. Егор об этом уже был наслышан.

Остаток дня Егор провел на конюшне — прибирал стойло, отгреб навоз от ворот, тщательно вычистил своего белолобого любимца. Когда стало темнеть, хотел пойти в Исакову ригу — вечер как раз выдался свободный, комсомольской учебы не было. Заканчивая развешивать на стене упряжь, услышал, что кто-то вошел. Он оглянулся. В раскрытых дверях конюшни стоял молодой человек в полушубке и шапке-кубанке. Быстрым и острым взглядом зашедший окинул пустые лошадиные стойла и остановил свой взгляд на Егоре. «Что, один здесь?» — «Один», — несколько удивившись, ответил Егор. «Никуда не едешь?» — «Никуда. А что?» — «Тогда через часик подойдешь?» — «Куда?» — «В райотдел ГПУ. К товарищу Миловану». Егор хотел спросить, где это ГПУ, но не успел, молодой человек исчез из конюшни. Егор повесил хомут и прислонился к стойлу. Чем занимается ГПУ, он уже слышал и сейчас даже обеспокоился: чем он заинтересовал эту организацию? Уж не натворил ли чего? Но вроде — нигде ничего, иначе сказал бы товарищ Заруба. Может, допустил какие разговоры? Так, кажется, нигде и ни с кем не разговаривал ни о чем недозволенном.

Довольно, однако, растревоженный, час спустя он вышел из исполкомовского двора и направился в сторону церкви. Он намеревался у кого-нибудь спросить, где ГПУ, но на улице никто не попался навстречу. И он прошел мимо церкви, мимо райкома партии, в котором сегодня арестовали первого секретаря. Во всех окнах райкома горел свет, слышались голоса, на крыльце появился какой-то человек в подпоясанном пальто, Егор спросил, где ГПУ. Тот от неожиданности уставился на него испуганным взглядом, а потом торопливо показал на церковь. «Вон там, за собором. В поповском домике с синими ставнями».

И правда, за церковью под старым кленом приютился небольшой, симпатичный домик с низким крылечком; занавешенные изнутри окна заметно светились в зимних сумерках. Егор взошел на крыльцо и постучал. Дверь открыл кто-то невидимый в темных сенях, повел в освещенную комнату. За столом, накрытым новой кумачовой скатертью, сидел тот самый человек с бритой головой, который встретился ему в исполкоме. Товарищ Милован, вспомнил Егор. Кажется, тут было холодно, на гепеушнике топорщилась наброшенная на плечи шинель с широкими синими петлицами на воротнике. Не спеша начать разговор, тот внимательно осмотрел Егора, который смущенно остановился поодаль от стола, в тени абажура большой двенадцатилинейной лампы, низко висевшей под потолком. Милован, однако, велел подойти ближе, и Егор ступил два шага к столу. На конце его лежала новенькая суконная буденовка с шишечкой наверху и синей звездой спереди. Поверх синей звезды блестела и еще одна, металлическая, звездочка. Хороша была буденовка, не то что его шапка-кучомка, которую он рассеянно теребил в руках.

С непонятной доброжелательностью гепеушник стал расспрашивать, откуда Егор родом, сколько земли имеют родители, как давно он служит возчиком в исполкоме. Егор сдержанно отвечал, чувствуя, однако, что не за тем его позвали сюда, чтобы узнать, сколько земли у его родителей. Наверно, интерес их в другом. И в самом деле, расспросив, Милован помолчал недолго, будто собираясь с мыслями. Его худое, в вялых морщинах лицо странно посуровело, и он решительно вздернул сползавшую с плеч шинель. «Куда чаще всего ездит Заруба?» — спросил он и, полный внимания, застыл за столом. Егор растерянно переступил с ноги на ногу, поняв, что с этой минуты начинается главное. Но зачем он спрашивает об этом возчика, почему не спросит самого Зарубу? «Не знаю, всюду ездит», — сказал Егор. «А как часто наведывается в Кандыбичи?» Соображая, как лучше ответить, Егор медлил, он уже чувствовал, что не должен что-то выдавать из жизни своего председателя, но как было что-либо скрыть? И он старался отвечать как можно туманнее, неопределенно, с молчаливыми паузами. Это наконец возмутило сурового гепеушника, от первоначальной доброжелательности которого не осталось и следа. «Ты не морочь мне голову, а отвечай прямо! Сколько раз были с Зарубой в Кандыбичах?» — «Так я не считал. Может, раз или два». — «Врешь, не два! Лучше подумай, вспомни!» — «Не помню я». — «Что, слабая память? Комсомолец, кажется?» — «Ну комсомолец», — ответил Егор и впервые открыто взглянул Миловану в глаза. «Если комсомолец, так обязан сотрудничать с органами! — сурово объявил гепеушник. — За уклонение, знаешь, что бывает?»

Очень все это не нравилось Егору, главным образом потому, что этот человек тайно выспрашивал его про Зарубу. Очень не хотел исполкомовский возчик выдавать какие-то секреты своего начальника, что-то в нем упрямо сопротивлялось тому, и уже появилась трудно преодолимая враждебность к этому бритоголовому следователю. Стоя посередине комнаты, он подумал, что завтра обо всем расскажет Зарубе. Но Милован, словно разгадав намерения возчика, предупредил строго: «О нашем разговоре никому ни-ни! Ни единого слова. Понял?» Минуту он испытующе повглядывался в озабоченное лицо Азевича, а затем, перехватив его взгляд, спросил потеплевшим голосом: «Что, нравится буденовка? То-то! Не всем полагается. Надо заслужить. А теперь иди. Понадобишься — вызову».

С огромным облегчением Азевич миновал сени и вышел из поповского дома. Чувствовал он себя чертовски усталым и будто обиженным чем-то. В здании райкома светились всего два окна, а в исполкоме только одно, в приемной, наверно, уборщица Лушка заканчивала свои дела. Зарубы там уже не было. А если бы и был, подумал Егор, все равно теперь он не имел права что-либо ему рассказать. Он уже чувствовал, что с этими гепеушниками надо держать ухо востро, не дай Бог нарушить их запрет. Опять же, а что он им скажет, если позовут снова? «Вот прицепились, чтоб вы подохли!» — неприязненно думал Егор по дороге в Исакову ригу. Не хватало ему этих забот.

Заботы, однако, только начинались.

Два или три дня спустя Егор отвозил Зарубу на станцию — тот намеревался ехать в Минск на совещание. В возок сел и еще кто-то — не знакомый Егору человек в новом бобриковом пальто. Наверно, приезжий уполномоченный, которому также надобно было в Минск. До станции было не близко, но дорога была уже хорошо накатана санями. Метели давно кончились, как и оттепели, отдохнувший Белолобик шустро бежал в крашеных оглоблях, осыпая возчика снежной трухой. Сзади тихо переговаривались между собой начальники. Сначала они упоминали какое-то постановление ЦИКа, которое значительно укрепляло партийную линию, потом разговор перешел все к тому же — к темпам коллективизации, затем заговорили о каком-то Барабашове, которого, как понял Егор, недавно разоблачило ГПУ. Уполномоченный высказался в том смысле, что этот Барабашов — давний замаскированный враг, а Заруба сказал, что его подсидели завистники, что совсем он не враг. Егор относительно этого не имел никакого мнения, так как совсем не знал Барабашова. На станции он подвез седоков к зданию вокзальчика и, освободившись, налегке поехал домой. Время было не позднее, думал, может, еще забежит в Исакову ригу — подчитать в конспекте. Вечером планировались занятия, и Полина могла его вызвать, а перед Полиной он очень стыдился обнаружить свое незнание. Но не успел он распрячь коня, как заметил возле въезда во двор все того же белобрысого помощника Милована, который кивнул ему, указывая в сторону церкви, что значило: начальство зовет.

На этот раз Егор шел раздраженный, почти злой — чего они прицепились? Пусть Милован сам копает, где хочет, Егор ему не помощник. Но Милован на этот раз оказался гораздо обходительнее, чем в первый раз, предложил сесть. Он принялся расспрашивать возчика, о чем разговаривали в дороге Заруба с уполномоченным по фамилии Коломиец. Егор клялся, что почти ничего не слышал, потому что сидел впереди и ветер забивал их голоса, но вроде ничего такого они и не говорили. Разве о том, что скоро весна, на носу посевная кампания. Опять же семена... «Ах, семена! — разозлился Милован. — А Барабашова они не поминали? Что о нем говорил Заруба?» — «Я не слыхал. Кабы слышал, разве бы я не сказал», — почти искренне убеждал его Егор. Милован замолчал, что-то про себя решая и не сводя испытующего взгляда с Егора. Но в этот раз Егор, не моргнув, выдержал этот взгляд. Он тоже кое-чему уже научился.

Наверно, Егор опять не оправдал надежд Милована и окончательно разочаровал гепеушника. Впрочем, настроение его самого тоже было испорчено. К Исаку он уже не пошел, конспекта так и не прочитал ни разу, а на занятиях, куда он едва успел, Полина вызвала его первым. Получился конфуз: Егор попытался ответить и, конечно, запутался. Дополнительный вопрос относительно повестки дня съезда победителей запутал его еще больше. Вспотевший и неуклюжий, он беспомощно стоял перед этой маленькой женщиной, явственно ощущая, как постыдно краснеет. Что-то злое на секунду мелькнуло в быстрых женских глазах, но тут же она, видно, превозмогая себя и улыбнувшись, сказала: «Ничего, Азевич, ответишь в четверг». И совсем уж дружески и открыто заулыбалась ему, отчего у парня сразу полегчало на душе. Он был благодарен ей за ее великодушие — славная она все же женщина, умная и... очень привлекательная, думал Егор. В кружке ее обожали многие, в том числе и куда более достойные, чем исполкомовский возчик Азевич. Вон хотя бы Байдура, рослый чернявый остряк-самоучка, как он называл себя. Пожалуй, он был самый активный из всех и, как только появлялась Полина, не отлипал от нее до конца занятий. Оно и понятно: Байдура работал на льнозаводе, варился в рабочей среде, не то что крестьянин-середняк Егор Азевич. Егор уже усвоил разницу между крестьянином и рабочим — носителем передового пролетарского сознания. Рабочих всегда хвалили, выдвигали в руководство любой политической кампанией. О них столько написал Ленин. Опять же — диктатура пролетариата. А что крестьянство? Порочная частнособственническая психология...

Заруба пробыл в Минске недолго — всего два дня. Егор съездил на станцию к поезду и привез его в местечко. Как всегда, председатель исполкома в дороге почти не разговаривал, только спросил: «Ну что там у нас? Какие новости?» — «Да так, никаких новостей», — ответил Егор. Заруба, помолчав, как-то необычно протяжно вздохнул и сказал: «Новости будут, Азевич. Скверные будут новости». Эти его слова отозвались тревогой в душе возчика, он думал, что Заруба что-то объяснит, но тот ничего не сказал больше.

Очень хотелось ему рассказать председателю о своих заботах — двух непростых вызовах в поповский дом, но он не решался нарушить запрет Милована. Неизвестно к тому же, как к его откровенничанию отнесся бы Заруба. А вдруг разозлится? Или не поверит? А то еще хуже — сообщит о том Миловану. И он решил промолчать. Трудно о чем-то думая, всю дорогу молчал и Заруба.

На другой день они собрались в Заболоть. Выехали, однако, поздно: Заруба задержался в исполкоме, потом на местечковой улице Егор обнаружил, что Белолобик захромал. Он слез с возка — у лошади на левой передней сломалась подкова. Егор попытался оторвать ее, но без щипцов не сумел это сделать. Наверно, следовало возвращаться. Ехать же в кузницу уже было поздно, по-видимому, поездку следовало отложить до завтра. Председатель к такому повороту дел отнесся почти безразлично. «Завтра так завтра», — сказал он, выслушав Егора, и тот завернул возок.

Назавтра утром с Белолобиком на поводу Егор шел местечковой улицей к речке, где была кузница, и повстречал Полину. Девушка куда-то торопливо бежала в своем синем пальтишке, с потертым портфельчиком в руках. Завидев его с лошадью, еще издали заулыбалась, он поздоровался, и она остановилась. Минуту молча рассматривала Белолобика, потом почему-то — его. Он стал сбивчиво объяснять, куда идет, а она как-то не в лад с его объяснением бросила: «Ну и шапка у тебя, Азевич!» — «А что?» — не понял он и сдернул с головы свою обловушку. «Как у подкулачника», — выпалила Полина и, словно в утешение ему, еще веселее заулыбавшись, побежала по улице. Уязвленный ее мимолетной колкостью, он уныло побрел к кузнице. Шапка? Уж какая есть, другой взять негде. В лавке шапок не продают, пошить не из чего. Эта, правда, неказистая с виду, зато теплая, из овчины. Шил еще дед, носил несколько лет отец, и он ее носит уже третий год. Хорошая шапка.

Так утешал себя Егор, но шапка-кучомка все же становилась ему противной, захотелось снять ее да бросить куда за забор. И он думал: скорее бы лето, тепло; дома у него висела на гвозде неплохая кортовая кепка, почти еще новая, с чуть надломленным козырьком. Он наденет кепку и будет как все ребята в местечке. И Полина тогда не скажет, что шапка у него, как у подкулачника.

Но тепло не наступало, наоборот, под весну ударили холода. Как-то под утро Егор проснулся в своей промерзшей риге, услышав, как стреляет мороз по углам. А тут надо было выезжать в район, Заруба сказал: на три дня. В этот раз предрика выезжал с бригадой уполномоченных — на трех возках. Рано утречком Егор прибежал в конюшню, чтобы успеть подготовиться к поездке, и застал там старика Волкова, который уже холил своего любимца. Он сказал Егору, что поедут Фирштейн из райкома, Бугаенченко и Солодуха из исполкома. И еще Пташкина из женотдела. Когда он назвал Пташкину, сердце у Егора встрепенулось от непонятной радости, но тут же и опало — с кем она поедет? Но не все ли равно с кем, наверно же, не с Зарубой. С Зарубой, если на то пошло, сядет Фирштейн, как и полагается — начальник с начальником. После того как арестовали первого секретаря, Фирштейн заступил на его место, хотя еще и не был избран.

На исполкомовском дворе они принялись запрягать свои сани-возки. У Егора был, наверно, самый лучший в исполкоме возок — легкий, окрашенный в синий цвет, он очень правился возчику. И Егор уже прикидывал, как бы в нем гляделась Полина. Рядом с Зарубой. Но вряд ли она сядет к нему, наверно, устроится в другом месте. С такой мыслью Егор заводил в оглобли коня, и тут кто-то сзади сдернул с его головы шапку и надвинул на глаза что-то чужое и холодное. Егор испуганно обернулся — сзади, смеясь, стояла Полина. «Вот будешь красавчик. Это тебе от женотдела», — все смеясь, сказала она, спрятав за спиной его шапку, — наверно, чтобы не отнял. Егор недоуменно посмотрел на девушку, потом на то, что снял с головы, — это была настоящая, армейская, почти еще новая буденовка. Ладно скроенная и сшитая из серого сукна, с застегнутыми наушниками и разлапистой черной звездой спереди. Но почему это ему? За что? «Надевай, надевай, нечего любоваться! Пусть девчата любуются», — покровительственно торопила его Полина.

Но он, не замечая мороза, продолжал разглядывать буденовку, ее маленькие пуговички со звездочками, острый ладный пупок наверху. И это — от Полины. Напрасно говорит: от женотдела, какое он имеет отношение к женотделу, где еще никого не знает? Значит, от Полины, спасибо ей. Он был по-настоящему тронут и слишком смущен, чтобы как следует поблагодарить девушку. Но все-таки надо было запрягать коня, и он бережно, двумя руками надел буденовку, которая оказалась ему немного тесноватой. Но — пустяки, приносится. Теперь он становился похожим на красноармейца или какого-нибудь начальника, а вовсе не на исполкомовского кучера. Горделивое чувство шевельнулось в нем и исчезло. Полина же тем временем повернулась и побежала в исполком, где собирались отъезжающие. Рядом заворачивал свой возок Волков. «Подарочек получил? — как-то с намеком пробасил старый фурман. — Ну-ну...»

Они недолго постояли на выезде со двора, подождали. Наверно, все отъезжающие уже собрались, да что-то не спешили на мороз из теплого исполкома — совещались в кабинете председателя. Как только их совещание окончилось, первой выбежала на крыльцо Полина и вскочила в возок к Егору. «Вот с председателем поеду», — бросила ему и спрятала личико в поднятом воротнике пальто. У Егора дрогнуло сердце — от робкой радости, ожидания чего-то неизведанного. Но он тут же и встревожился — все-таки легковато она была одета для такой поездки, как бы не застудилась. И он молча стоял с вожжами в руках, дожидаясь, пока выходившие из исполкома начальники рассаживались по возкам. Фирштейн потоптался рядом с Зарубой возле синего возка, наверно, хотел сесть с председателем, и пошел к другому. Заруба, не торопясь, устроился возле Полины.

Выехали все вместе, но за Выгонками разъезжались в двух направлениях. Заруба с Полиной направлялись в лесную сторону района, а два других возка сворачивали на Ободь. Полина в дороге почти все время молчала, как всегда, молчал и Заруба. Егор очень неловко чувствовал себя перед ними в своей, будто с неба свалившейся буденовке. Он ждал, что Заруба спросит, где он взял такую, но тот вроде и не замечал. Зато замечали встречные. Дядьки и бабы на санях, что встретились им по пути, как приметил Егор, устремляли свои взгляды прежде всего на него, возчика в буденовке, а потом уже — на его седоков. Оттого у Егора прибывало важности, и он уверенно правил конем, разъезжаясь со встречными на узкой дороге.

Первое собрание проводили в Ободе, в школе. Было воскресенье, дети не учились, собралось немало народа, может, со всего сельсовета. Егор занимался конем и на собрание заскочил только в конце. Взглянул через людские головы: на сцене за красным столом под кумачовыми лозунгами сидели с полдюжины мужчин и среди них Полина, маленькая, с раскрасневшимся лицом и — привлекательная. Выступал Заруба. Говорил о задачах классовой борьбы в деревне, о сопротивлении кулацких элементов, которых надлежало раздавить безжалостной рукой пролетарской диктатуры. Заруба был руководитель опытный. Егор уже знал, что председатель происходил из витебских рабочих. А тут всюду крестьяне — бедняки да середняки... Сколько их ни призывали к строительству лучшей жизни — упрямились, в колхозы шли с большой неохотой, под нажимом партийцев. Даже и в его Липовке за зиму не смогли сорганизовать колхоз, и Егору порой было неловко перед председателем исполкома за своих земляков. Наверно, надо бы как-то съездить туда, давно уже не был. Но не подворачивался случай, дороги вели стороной — район был большой, разбросанный едва ли не на полсотни верст от местечка.

Во второй половине дня провели еще одно небольшое собрание, в придорожной деревне, где сразу записалась в колхоз почти половина хозяйств. Но Заруба сказал, что это ненадежно. Записываются они не впервые, а как только начальство уедет, те списки куда-то исчезают. Кто-то крадет. И опять собирают собрание, опять агитируют вступать. И так несколько раз подряд.

Вечером было решено провести собрание в большой залесской деревне Трикуны, чтобы и заночевать там. Школы в Трикунах не было, мужиков собрали в чьей-то большой избе, наприносили скамеек. Во главе стола село четверо: Заруба с Полиной и двое местных — председатель сельсовета и, наверно, учитель, молодой парень с бледным, чахоточным лицом. Этот выступал вторым, после председателя сельсовета, и такого нагнал на мужиков страху, что те притихли, словно в церкви, никто не смел кашлянуть. Выступающий пугал ГПУ, Сибирью, пролетарской диктатурой. Егор стоял на пороге, не снимая своей буденовки, ловя любопытные взгляды девчат. Держал себя независимо, по-взрослому, и не переставал любоваться Полиной. Та была в своем синем пальтишке; согревшись, сдвинула на затылок платок и выглядела издали, как ромашка, в обрамлении светлых, коротко подстриженных волос. Время от времени она бросала тайные взгляды на порог и незаметно для других, одними глазами улыбалась ему. Егор был счастлив. Лишь в глубине души что-то тревожно ныло, будто болело даже. И он догадывался, отчего болело, как только вспоминал наивную, простодушную Насточку. Но как можно было сравнивать Насточку с Полиной? Стоило послушать, как Полина выступает перед крестьянами, пожалуй, лучше, чем выступал Заруба. Тот будто играл на гармони — уверенно, басовито и сурово. Полина же словно играла на скрипке — тонко и сердечно, предельно убедительно, особенно когда обращалась к женщинам, обещая им счастливую долю. Слушая ее, всякому казалось, что он уже видит ту свою счастливую долю и вот-вот ее обретет. Для этого требовалось совсем немного — поскорее вступить в колхоз. После ее выступления деревенские женщины хлопали в ладоши, мужики, однако, сидели насупясь. У мужиков были свои заботы, и они упрямо держались собственного мнения.

Тем не менее колхоз в Трикунах организовали. Правда, вступили в него не все, даже не половина, но Заруба сказал, что важно начать. Начало же было положено, и поздно вечером они поехали в конец деревни к председателю ужинать. Там Егор устроил в хлеву коня, напоил теплым пойлом, задал корму, и когда вошел в дом, гости уже сидели за накрытым столом. Хозяин достал бутылку горькой, Заруба долго не церемонился, выпил стакан. Потом налили Полине. Та начала отказываться, ссылаясь на головную боль, и хозяин переставил ее стакан возчику. Егор вопросительно взглянул на Зарубу, тот кивнул: «Выпей, чтоб лучше спалось». Егор выпил. Когда начали закусывать, Полина вдруг попросила, чтобы налили и ей. Хозяин охотно налил полный стакан, из которого Полина отпила треть и закашлялась. «Закусывай, вот огурчик, капуста», — подсовывал ей закуску хозяин. «Не огуречиком — салом надо», — сдержанно сказал Заруба, и Егор, возле которого стояла миска с нарезанными ломтями сала, пододвинул ее Полине. Та с тайной благодарностью стрельнула в него заговорщическим взглядом.

Егор сидел за столом хорошо-таки захмелевший и очень хотел спать. Но как-то держался, прислушиваясь к разговору. Разговаривали, впрочем, одни мужчины, и больше других говорил Заруба. Хотя и не так, как на собрании, — сдержанно, немногословно и значительно. Хозяин слушал, в знак согласия кивал головой. Временами кое-что быстрой скороговоркой вставляла Полина. Хозяйка и ее взрослая дочь возились возле печи — подавали-принимали миски, в разговор они не встревали. В какой-то момент Егор, наверно, задремал, пошатнулся за столом, и хозяин сказал, обращаясь к нему: «Шел бы спать, притомился, наверно?» — «Иди, иди, — сказала и Полина. — Зачем мучиться». Он встал из-за стола и пошел за хозяйкой в тристен.

В тристене было не так и холодно (даже тепло, если сравнивать с его ригой), в углу, застланная пестрым одеялом, стояла большая кровать с целой горой пуховых подушек, тут же лежал тулуп. Егор снял сапоги, разделся и лег под тулуп. Как лег, так, наверно, и уснул — сразу и глубоко.

Неизвестно, сколько он спал, но вдруг проснулся в испуге — кто-то к нему подбирался, что ли? Егор попытался встать, но услышал тихий знакомый голос: «Ну чего, чего? Лежи, глупенький... Испугался? Подвинься немного...» Едва не задохнувшись от волнения, он послушно подвинулся и лежал, охваченный новым, неизведанным чувством — особенным чувством к женщине. Какое-то время не мог отойти от испуга, было страшно неловко — зачем это она? Полина, однако, будто не испытывая никакой неловкости, уютно устраивалась рядом под теплой полой тулупа, игриво нашептывая ему в ухо: «Не пугайся, не пугайся, я не медведь, не съем тебя, такого огромного. Хочу погреться возле тебя, а то напоили и бросили одного в эту холодину... Ну, погрей меня...»

«Что она говорит? Зачем?» — билась в его голове все та же недоуменная мысль. Дрожащей рукой он неуклюже обнял ее за худенькие плечи и тут же ощутил на своей щеке ласковое прикосновение ее губ. Она прижалась к нему и что-то шептала, а он, слыша, как стучит собственное сердце, неподвижно лежал, словно полено. Наверно, надо было на что-то решиться — на самое, может быть, важное, но ему как раз и не хватало решимости. Полина и влекла его, и сдерживала одновременно. Как-то, однако, будто без участия его воли, между ними началась странная, похожая на игру борьба, Егор боялся, что Полина закричит, вырвется. Но она не кричала и не вырывалась, а только продолжала шептать ему что-то невнятное, игриво-ласковое. Когда наконец свершилось то, к чему оба невольно стремились, он враз притих, затаился под самой стеной. Полина легла свободнее, вытянулась, оба сдавленно, трудно дышали, и она спросила: «Не спишь?» — «Нет, что ты!» — «Ты такой большой и такой...» — «Какой?» — «Неуклюжий такой. Как медведь». — «А ты, знаешь, славная...» — «Конечно, славная, а ты думал?.. Плохая, что ли? Слушай меня, и ты будешь хороший молодой большевик. Хочешь стать большевиком-сталинцем?» — «Да я, конечно. Но...» — «Что — но?» — «Ну из крестьян я. Если бы рабочий...» — «Не имеет значения, что из крестьян». — «Имеет, я знаю». — «Отец кто — бедняк?» — «Середняком считается». — «Середняком — это хуже. Но лишь бы не подкулачник. Не подкулачник же, да?» — «Нет, не подкулачник». — «Стать настоящим большевиком — это непросто. Надо заслужить». — «Да, я понимаю, конечно...» — «Я вот из мещан, у меня родители в Бога верили. А вот заслужила. Приняли в ВКП(б) кандидатом, правда. Но примут в члены, никуда не денутся».

Ему, в общем, нравилась эта ее уверенность, да он и не сомневался, что ее примут и в члены партии. Чтобы такую ладную, образованную женщину да не принять? Ведь принимали и не таких — темноватых, малограмотных, правда, зато ударниц или активисток, как на льнозаводе в местечке. А Полина умница, к тому же красивая. Недаром из школы, где она работала зиму, взяли в женотдел райисполкома. Теперь они вместе со старой большевичкой Шварцман руководят всеми женщинами в районе. Вот такая Полина Пташкина. И эта женщина теперь лежит рядом с ним под одним тулупом и ласкается к нему. Неужто она полюбила его? А почему бы и нет? Разве он какой-нибудь глупыш, замухрышка — сильный и рослый парень, не глупее других. Может, стеснительный немного, не очень смелый с девчатами. Но, говорят, некоторым девчатам даже нравятся такие — стеснительные, не нахальные. Значит, и он чего-то достоин, даже — любви. От этой сладостной мысли становилось радостно, Егор живо подрастал в собственных глазах. «И это... Давно ты полюбила меня?» — спросил он и замер, полный внимания. — «А сразу, как увидала», — ответила она. «Правда?» — «Конечно. Иначе разве я бы пришла к тебе и этак... отдалась». — «Ну спасибо», — почти растроганно сказал он. Она тихонько и радостно засмеялась. «Спасибом не откупишься». — «А чем же?» — «Любовью, медведька, любовью...»

Ну, безусловно, любовью, разве он не готов полюбить ее. Да он уже и любил, и готов был для нее на все. Хотя бы и жениться на ней. Правда, тут не миновать некоторых препятствий, первое из которых — отношение родителей. Мама, может, и была бы рада, что не на Насточке, католичке. Но ведь Полина большевичка, безбожница, что, пожалуй, и еще хуже будет. Хотя что мать? Нынче не те порядки, чтобы слушаться матерей, следовать обветшавшим обычаям предков.

На рассвете она еще спала под тулупом, а он слез с кровати — надо было позаботиться о лошади. В избе никого не было, кроме хозяйки, внесшей из сеней груду намерзших поленьев. На загнетке горела коптилка, и он, тихо сказав: «Добрый день», вышел во двор.

Обратно вернулся нескоро. Возился в хлеву, долго дергал из стожка сено для Белолобика. Когда вошел в избу, посередине стола в большой сковороде уже вкусно пыхтела яичница, хозяйская дочь нарезала хлеб. Он поздоровался с хозяином, с Зарубой, который в подтяжках прошел по избе с полотенцем в руках. Полина уже сидела в конце стола и спокойно взглянула на него. Он на секунду задержал свой взгляд на ее милом личике, но ничего на нем не заметил. Все, как всегда. Как всегда, на людях она его вроде и не замечала. Будто вовсе не с ним переночевала под одним тулупом. Егор немного удивился, но подумал: а может, так и надо? Может, так заведено у передовой пролетарской молодежи?

В тот раз они возвратились из поездки немного раньше, чем обычно, и Полина сразу побежала в здание райкома, где размещался ее женотдел. За всю дорогу она не сказала ни слова, лишь на прощание бросила: «До свидания» — одно на двоих с Зарубой. Заруба, как всегда, молчал, наверно, полный собственных мыслей. Высадив пассажиров, Егор налегке поехал в конюшню. Он уже не мог думать ни о чем другом, кроме как о Полине, которая взбудоражила все его мысли. Очень хотелось видеть ее — на улице, в исполкоме. Как назло, занятия в комсомольском кружке были прерваны в связи с отставанием темпов коллективизации, весь районный актив был брошен в деревню. Несколько раз Егор порывался зайти в райком, но вечером не был уверен, что застанет Полину. Другого времени у него не было — почти каждый день они мотались с Зарубой по деревням, далеким и близким. Иногда ночевали там в крестьянских домах, школах или сельсоветах, и каждый раз он вспоминал ночлег в Трикунах и Полину.

Спустя несколько дней она пришла к нему сама. Только он вернулся из поездки в свою холодную ригу, как кто-то тихонько подергал дверь. Он удивился, но открыл — и она легонько впорхнула в комнату. «Что, не ждал? А я без ожиданки. Как ласточка, почуявшая весну...» — «Ласточка моя...» — «Нет, нет, не обнимай меня, дай я сперва тебя поцелую. Ну, добрый вечер, медведька...»

И снова их повлекло друг к другу без слов и объяснений. Совсем кстати рядом оказался сундук с какой-то одежкой... Когда немного совладали с собой, успокоились, она вдруг сказала: «Еду на неделю в округ». — «На неделю?» — удивился он. «На целую неделю. А вы, кажется, во вторник в Кандыбичи направляетесь?» — «Не знаю, председатель не говорил...» Она помолчала недолго, будто прислушиваясь к тиши огромного дома. «А он давно в Кандыбичах был? Ну у того учителя?» — «На той неделе были», — сказал Егор. «И ночевали?» — «Ночевали». — «А еще кто там был?» — «Ну этот, что из Минска приезжал. Уполномоченный». Она снова притихла, прислушалась. «А о чем разговаривали, не слыхал?» — «Нет, не слыхал», — просто сказал Егор. «А ты послушай, послушай когда». — «А зачем?» — «Зачем? А затем! Твой Заруба — знаешь кто?» — «Кто?» — «Скрытый белогвардеец, понял?» — «Как белогвардеец? Он же большевик. Из рабочих. На гражданской был комиссаром воинских курсов». — «Заливает. Никем он не был. Он скрытый враг. Понял? И ты за ним проследи. С кем он и что. Недаром он к тому учителю в Кандыбичи зачастил. Родная кровь. Такой же контра. Пстыга! Поповский сынок». — «Вот как!» — проговорил совершенно сбитый с толку Егор. «А ты думал...»

Это было неожиданно. Егор уже знал, сколько различных врагов было вокруг, в том же Минске, в округе, да и в их районе. Но чтобы врагом оказался Заруба, его самый надежный и самый лучший начальник, такого Азевич представить не мог. Но все-таки что-то, наверно, было. Недаром его вызывал Милован, теперь о том же говорит Полина.

Полина исчезла на неделю, а Егор ходил, будто в воду опущенный, сбитый с толку, ошарашенный, злой. Только на кого было злиться? На Зарубу он не мог даже обидеться — не в состоянии был поверить, что тот враг, белогвардеец. Разве такие бывают враги? День и ночь заботился о деле, организовывал колхозы, мотался по деревням, агитировал за советскую власть, лучшую крестьянскую жизнь. Но и Полине Егор не мог не верить — все-таки она что-то знала. Может, еще не обо всем рассказала? Может, у нее какие-то сведения из ГПУ?

Он очень тосковал по ней, просто жаждал ее — только бы увидеть, услышать ее милый голос. Он думал: как она там, в округе, на семинаре? Наверно, выступает и, конечно же, кружит ребятам головы. Да и сама может подхватить любого — разве там мало стоящих, умных парней, солидных большевиков-партийцев? Может, она уже забыла его? Он же забыть ее не мог ни днем, на заснеженных проселках, ни ночью, в его промороженной риге.

Так же, как не мог забыть ее последние слова о Зарубе. И постепенно он с каким-то новым чувством стал смотреть на председателя, слушать, как тот складно говорит о колхозах. Не в лад с его словами у Егора откуда-то являлась подловатая мысль: «Гляди-ка, а враг!» Он гнал ее, эту мысль, но она сама по себе возвращалась и опять лезла в голову. Когда в конце недели они снова оказались за озером по дороге в местечко, Заруба опять сказал повернуть в Кандыбичи. Правда, в этот раз ночевать не стали — лишь пообедали. Учитель Артем Андреевич, со странноватой, нездешней фамилией Пстыга, накормил их щами с бараниной, был заботлив к Зарубе и к Егору тоже. После обеда Егор дожидался, когда выезжать, а они все не могли наговориться. Вспоминали гражданскую войну, обсуждали нынешние порядки, сожалели о каком-то Жилуновиче, которого по смехотворной причине исключили из партии. Видите ли, участвовал в похоронах шурина по христианскому обычаю. Учитель горестно сокрушался, а Заруба сказал: «Все это — от безголовья да необразованности». — «Вот-вот, — подхватил Пстыга. — Отсутствие образованности — их порок на всех уровнях. Дьячки они! Наглые, безголовые дьячки, а изображают из себя архиереев и руководят епархиями». — «Всей Беларусью», — обобщил Заруба, бросив скошенный взгляд в сторону Егора. Больше Жилуновича они не упоминали.

Егор едва дождался приезда Полины, все в нем перестрадало от той ранней, не в пору, разлуки. Даже не думал никогда, что так можно присохнуть к недавно еще чужой, незнакомой женщине. Он встретил ее поутру в исполкомовском коридоре, она, как всегда, мило поздоровалась, не выдав и намеком их общую тайну и, только оглянувшись, шепнула: «Вечерком забегу». Он ждал наступления вечера, радовался и страдал. В мыслях он подготовил ей тьму ласковых слов. Придя пораньше из конюшни, одолжил у Исака самовар и две фарфоровых чашки. У него нашлась чайная заварка, немного сахару. Исак сперва удивился, потом, что-то поняв, задергал бородой и всем своим заросшим черной щетиной лицом. «Так, так, так... Молодой человек... Старый Исак тоже когда-то был молодой... Я тебе все подготовлю и даже могу немножко одолжить варенья. Из крыжовника, шмэк! Особенно если для женщины...»

Полина прибежала, когда уже хорошо стемнело, он поцеловал ее, и она его тоже. Но что-то в ее виде или поведении сразу его насторожило. Показалось, она в чем-то изменилась, вроде как бы отстранилась от него прежнего, что ли? Он усадил ее на единственный тут стульчик возле сундука с самоваром, на который она не обратила никакого внимания, рассеянно выпила чашку чая с вареньем на блюдце. «Ну как ты жил? Без меня?» — подняла на него какой-то измученный взгляд. И он не знал, как ответить ей и как держать себя. Ее какой-то сухой, даже отчужденный тон удерживал его на определенном расстоянии, и он сказал только: «Да так... Ездили...» — «В Кандыбичах были?» — «Заезжали, да». — «О чем шла беседа? О постановлении ЦК и СНК говорили?» — «Нет, про постановление не говорили». — «А о чем говорили?» — выспрашивала Полина совсем чужим, будто даже начальственным тоном, в самом начале вынудившим его насторожиться. «Да так, про какого-то Жилуновича». — «Что? Про Жилуновича? Что напрасно не арестовали?..» — «Нет, что неправильно из партии исключили». — «Ах, вот что...»

Полина поднялась со стульчика, взяла с подоконника свою сумочку. «Вот тебе бумага, вот карандаш. Садись и напиши все. Я жду». — «Зачем?» — не понял он. «Затем, — ответила она без улыбки. — Ну, я жду». Он недоуменно поглядывал на белый листок бумаги из тетради в клетку и не понимал, что делать. «Так это, я завтра напишу», — сказал он и натужно улыбнулся. Но она снова с нажимом сказала: «Нет, ты напишешь сейчас. Я жду», — и уставилась на него холодными сузившимися глазами, в которых не было и намека на особенность их отношений. «Ну, начинай!» — «Я не могу». — «Ах, не можешь? Тогда я сама напишу. Давай карандаш».

Он отдал ей карандаш и бумагу, и Полина сразу начала писать на сундуке возле самовара. Она больше не задала ему ни одного вопроса, даже не взглянула в его сторону, написала страницу и подвинула ее Егору: «Подпиши!» Уже плохо соображая, что происходит, Егор начал читать ее мелкий, не очень разборчивый почерк. «*Настоящим свидетельствую, что во время поездок председателя РИК Зарубы по району указанный гр-н Заруба М. Ф. систематически и регулярно имел встречи с гр-ном Пстыга А. А., во время которых велись откровенные разговоры с осуждением политики органов, партии и правительства и восхвалением некоторых вредителей и нацдемов, например, писателя Жилуновича* ».

Егор оторвался от текста, в его глазах потемнело. «Полина, зачем же так? Какие разговоры?» — «Что, не было разговоров?» — «Ну так, говорили, но...» — «Но ты не слышал? Тогда тебя самого арестовать следует. За то, что не слышал. Ибо должен был слышать. Если ты тоже не скрытый контрреволюционер. Подписывай!»

Егор колебался. Он читал дальше, думал, может, где в конце найдет какое-то объяснение, какое-нибудь для себя оправдание. Но в бумаге был только один смысл: председатель РИКа вел контрреволюционные разговоры с бывшим белогвардейцем Пстыга, что и подтверждает возчик РИКа Азевич Егор. Егор прочитал все и растерянно смотрел то на бумагу, то на такое знакомое личико Полины. Но теперь это личико было совсем не таким, каким он привык его видеть, куда только исчезла милая улыбчивость и с ней девичья привлекательность. Что-то твердое и недоброе появилось в том милом личике. «Ну что еще тебя смущает?» — нетерпеливо спрашивала Полина. — «Да все, нехорошо так». — «Нехорошо? Зато по-большевистски. Ты это понимаешь или нет?»

Нет, этого Егор понять не мог. Он не мог взять в толк, зачем все это нужно ему, да и Полине тоже. Однако, выждав, Полина сменила свой требовательно-суровый тон на почти ласковый. «Егорка, ну! Ну сделай это для меня! Ну что тебе стоит? — заглянула она ему в глаза и даже мягко коснулась ладонью его волос. — Ну для нашей любви. Мы же ведь так обнимались... Помнишь? Подпиши тут, и все». — «А Зарубе что будет?» — «Да ничего ему не будет, чудак ты! Ну, может, дадут выговор. За потерю бдительности».

Плохо понимая, что делает, Егор помедлил немного и вывел по самому краешку: «*Азевич Е.*».

Полина молча положила бумагу в сумочку, бросила ему: «До свиданья», и ушла. Он остался стоять в полном смятении, совершенно сбитый с толку, едва начиная понимать, что произошло. Лишь спустя какое-то время понял, что произошло скверное. Сам, может, и уберегся, но Заруба... Наверно, он погубил Зарубу.

### 5

Может, он шел и недолго, но после того, как упал и поднялся, темп его ходьбы очень замедлился. Он уже едва брел, сдерживая все чаще пробиравшую его дрожь. Что-то в его всегда выносливом теле явно разладилось.

Опушка куда-то пропала, зарослей кустарника на его пути встречалось все больше, под ногами шуршала сухая трава, и он подумал: хотя бы не набрести на речку. Где-то тут поймой должна протекать неказистая речушка Ужка, через которую в темноте ему не перебраться. Что тогда делать? Вот еще не хватало на его голову!

И все-таки скошенный луг или пойма под ногами враз как-то кончились, и речка не появилась. Он опять вышел на твердую почву, хотя идти по ней стало чертовски неудобно. Это было вспаханное поле, неровное и бугристое, то и дело больно подворачивались ноги. Азевич круто повернул в сторону и скоро уперся в полосу кустарника. Приглядевшись, пролез сквозь его черную чащу и оказался на твердом и ровном. Не сразу понял, что набрел на дорогу — уезженный сухой большак, возможно, бежавший в сторону местечка. Только в какой стороне было то местечко?

Пытаясь вспомнить, какие поблизости могли быть деревни, Азевич прошел несколько шагов в одну сторону, потом, засомневавшись, повернул в противоположную. В районное местечко, разумеется, лучше не соваться, надо держаться от него подальше. Может, пойти туда, где лежали знакомые ему места и еще дальше — родная деревня Липовка? Очень хотелось теперь домой, но дорога туда ему была заказана.

Вот чертова жизнь, или война, или проклятая его судьба, когда именно туда, куда надо, где нашел бы приют и прибежище, именно туда и нельзя.

В том, что он теперь идет в нужном направлении, должной уверенности у него не было, казалось, идет не туда. И он остановился снова, огляделся. До слуха донесся какой-то неопределенный звук, заставивший его снова вслушаться. Кажется, однако, он не ошибся: ветер доносил тихий стук копыт — кто-то ехал по большаку и был уже близко. Азевич шагнул в сторону, под кустарник, присел, затаился. Тут, пожалуй, его не заметят, а уж он что-то увидит.

Дожидаться пришлось недолго, из темноты на дорогу выплыла тусклая неопределенная тень, потом стала различима лошадиная голова под дугой и повозка, нагруженная какой-то поклажей. Она быстро приближалась, и оттуда послышалось:

— Теточка, а волки нас не догонят?

Это был тихий ребячий голосок — мальчика или девочки, не понять. Азевич задержал дыхание и услышал, как хрипловато-спокойно отозвалась женщина:

— Ды якия волки, но-о...

— Волков дужа боюся...

— Волков не бойся теперь... Теперь людей надо бояться, детка.

Азевич вдруг сразу успокоился, он даже устыдился недавнего своего испуга и встал из-под зарослей. Повозка была уже рядом, он шагнул навстречу и негромко сказал:

— Постой, тетка!

Лошадь от неожиданности вскинула голову и замедлила шаг, принимая несколько в сторону от него, и Азевич ухватил ее за уздечку. В повозке, видно было, сидела женщина с вожжами, из-за ее спины выглядывали, кажется, двое ребятишек, но Азевич не успел их рассмотреть.

— Не бойтесь. Свои, — сказал он как можно спокойнее. — Куда едете?

— В Осипье, — тихо проговорила тетка.

— Почему ночью?

— Так подводу только под вечер дали. Днем дрова возили.

Осипье он знал, это была небольшая деревня под лесом, километрах в двадцати от местечка. Наверно, туда и ему было бы по дороге.

— Может, подвезете? А то... подбился, знаете.

Тетка не ответила, лишь неуверенно поежилась в своей теплой одежке с толсто повязанным на голове платком. Не дожидаясь ее согласия, Азевич взгромоздился на повозку сзади, опустив через боковину натруженные ноги.

— А вам далеко надо? — наконец спросила тетка.

— Мне недалеко. Вот немного подъехать.

Тетка шевельнула вожжами, и лошадь, поскрипывая упряжью, пошла по дороге. Азевич запоздало подумал: куда же это он? Подъехать — это неплохо, только — куда? Правда, уже то хорошо, что не в местечко, в другую сторону, а там будет видно.

— А вы это... Из полиции будете? Или партизан, может? — поинтересовалась тетка.

— Окруженец, — легко ответил Азевич.

— А, окруженец, — заметно повеселела тетка. — Домой, наверно, идете?

— Домой.

— А далеко вам — домой?

— Далеко, тетка, — сказал он.

— Вот как! Далеко... Ах, горюшко наше... Да ночью. Хотя теперь только ночью и можно. Днем, и правда, никак. Вот я и запозднилась... Но малые, как с ними...

Присмотревшись, Азевич разглядел ребятишек. Закутанные в тулуп, рядом сидели мальчик и девочка. Настороженные и, наверно, испуганные, они молчаливо уставились на него. Чтобы их успокоить, Азевич сказал:

— Не бойтесь! Дядя — хороший.

— А я не боюсь, — отозвался мальчик. — Это Лёдя боится. А я тебя не боюсь.

— Вот как! Смелый, однако.

— Смелый, ага, — серьезно подтвердил мальчишка.

Спереди к ним обернулась тетка:

— Малой он, говорит неведомо что. Какой там смелый...

— А вот смелый, — стоял на своем мальчишка.

— Молчи, Шурка!

Шурка, наверно, и еще хотел возразить, но рядом завозилась Лёдя.

— А вот и несмелый. Плакал, как папка лежал и с него кровь текла...

От этих ее слов все умолкли, смолчал и Шурка. Азевич насторожился, почуяв явную трагедию. Но трагедий он уже навидался столько, что еще одна, новая, не хотела вмещаться в его душе, и он ни о чем не спросил.

— Это же их родителей поубивали. Теперь вот везу сирот домой. Племянники мои, — сказала тетка, словно извиняясь.

— А у тетки собака есть! — горделиво сообщил Шурка. — Жулик называется.

— А, какая там собака! — сказала тетка. — Щенок.

Азевич попытался догадаться, что же произошло, но не смог и переспросил женщину:

— А за что их немцы убили?

— Если бы немцы! Свои, партизаны.

— Вот как! И за что?

— А ни за что, — помолчав, сказала тетка. — Что отец за немца вступился. Не давал немца застрелить. Так самих постреляли.

— Интересно, — вяло сказал Азевич, не испытывая, однако, большого интереса к этой, в общем, банальной истории. Он думал о том, где ему слезть с подводы, чтобы не въехать в какую-нибудь деревню с полицией. Тетка же, напротив, уже не могла сдержаться и рассказывала:

— Они же учителя были — Биклаги. Возле церкви жили. Недалеко от школы. Отец физику учил, а мать, моя сестра Фенечка, немецкий язык. Домик такой славный имели. Она же, Феня, чистюля такая, сестренка, все у них, бывало, прибрано, ладное такое, комнатка или крыльцо, все вычищено, выскоблено, желтенькое. Вот это их и сгубило. Если бы знать... Но, ты! Чего это он встал? — удивилась тетка. Ее лошадь почему-то остановилась посреди дороги и ждала. Вскоре, однако, тетка догадалась: — А, тут же развилка. Хутора Ольховские, если направо, а налево — объезд. Как оно лучше?

Азевич подсказал:

— Лучше на объезд.

— Ага, и правда. Наверно, лепей на объезд. Но, милая!

Повозка свернула куда-то влево, и они тихо поехали в сплошной темноте. Дорога тут стала похуже, с частыми ухабами. Кустарник вскоре окончился, и они очутились в открытом ветреном поле. Стало холодно. Азевич едва сдерживал дрожь, очень мерзла правая нога в мокром худом сапоге.

— Они же и деток так же учили, чтоб аккуратно, вежливо. Шурка вон малый, еще в школу не ходил, а уже книжки читал, весь букварь знает...

— А букварь неинтересный, — сказал мальчик. — Сказки интереснее.

— Кто теперь вас учить будет, детки вы мои разнесчастные! — всхлипнула тетка.

Азевич спросил:

— А за что их убили все-таки?

Тетка помедлила, вытерла ладонью глаза.

— Я же и говорю, чистенько у них было, культурно, ну и понравилась квартира тому немцу. Что в район за начальника приехал. В коричневом таком пиджаке, с повязкой на рукаве, немолодой такой, очень строгий. Стал квартирантом...

— Бургомистр, что ли? — спросил Азевич.

— А черт его знает, бургомистр он или еще кто. Занял большую комнату, их переселили в боковушку, чтоб к нему ни-ни. И денщики там у него, обслуга...

— А у него наган — вот такой, в кожаной сумочке. Прабел называется, — вставил свое Шурка.

— Во, наган ты только и запомнил. Наган...

— Ага, запомнил, — заерзал в тулупе Шурка. — Тот дядя стрельнул в немца, а потом взял его наган и стрельнул в папку.

— Так за что же их? За квартиру? — удивился Азевич.

— А кто ж их знает, я же не была там, не знаю. Но люди рассказывают: пришли ночью, позвали в сарай Биклагу, ну отца вот этих... Чтоб немца забить. А он: нет, нельзя, детей погубите, немцы тогда поубивают всех — и нас, и детей. А те говорят: ах ты холуй немецкий, фашистов защищаешь? Ну и сами в хату, застрелили немца, а потом и их обоих постреляли. Чтобы свидетелей не оставлять, что ли? Или со зла? Или черт их знает почему!

— А в папку два раза стрельнули, — в молчаливой тишине сказал Шурка. — Потому что шевелился. Рукой по груди водил.

— А ты видел? — тихо спросила Лёдя. — Я на печи плакала...

— А я видел. Я под кроватью сидел, а как кровь из папки потекла до порога, так я вылез. А папка и не шевельнулся больше.

Тетка начала тихо всхлипывать, Азевич сидел молча и думал. Но что он мог сделать, чем утешить этих ребят? Может, так было нужно, а может, и нет. Как понять теперь, кто виноват. Конечно, виновата война, повсеместная жестокость, ненависть и непримиримость, раздиравшая человеческие души. Стреляли, уничтожали, громили, лишь бы побольше крови — и чужой, и своей. Но разве все это началось только с войной, разве до войны было не то же самое?.. Свои со своими начали воевать давно и делали это с немалым успехом. Недаром говорили: бей свой своего, чтоб чужой боялся. Чужих не слишком испугали, а своих побили. Теперь, услышав этот рассказ на ночной дороге, Азевич, в общем, понимал местечковых учителей, их тревогу за малышей. Наверно, любовь к ним, а не желание услужить немцам вынудило их возразить партизанам. А партизаны поубивали и тех, и других. Чтобы не ломать голову, не разбираться. Разберемся, мол, после войны...

Они еще ехали полем, но Азевич забеспокоился: где-то здесь должна была начаться большая деревня Саковщина, в которую ему лучше всего не соваться. Деревня при дороге, бывший сельсовет, теперь там, наверно, расположилась полиция, и, конечно, их остановят.

— Тетка, Саковщина далеко? — спросил Азевич, как только женщина немного успокоилась и умолкла.

— Саковщина? А близко. Вон мосток переедем и — Саковщина.

— Тогда я слезу, — решил Азевич. — Спасибо тебе, тетка. И вы — растите большие, — пожелал он малышам. — Может, когда-нибудь лучше будет.

— О если бы оно было лучше! — вздохнула тетка. — Если бы лучше! А то и до войны, и в войну эту, чтоб она сдохла. Сколько крови нашей она еще выпьет...

Повозка стукнула напоследок колесами в колдобине и скрылась во мраке, а он остался один среди ночи. Стужа вовсю терзала его, тело сотрясала дрожь, кроме как на ходьбе, согреться не было возможности.

По-прежнему ставя ногу бочком, чтобы не цепляться за траву подошвой, он ковылял каким-то полевым косогором — прочь от дороги, подальше в поле, в обход Саковщины. Деревня действительно находилась где-то поблизости, то и дело доносился запах дыма из труб. Дул сильный ветер, временами просто рвал на нем полы шинели, выдувая остатки тепла. Руки Азевич держал в карманах, так они меньше мерзли, и долго брел куда-то по полю вниз. Оглянувшись, увидел, как небо над ним недобро нахмурилось, густая чернота разлилась по всему небосклону, до самого горизонта. И только он подумал, что, наверно, пойдет снег, как тот действительно повалил густо и споро, словно из развязавшегося мешка. Ветер гнал и гнал вокруг снежную крупу, осыпая ею траву под ногами, сек по спине, по плечам, по его мокрому картузу и особенно больно — по мокрым ушам. Ночную даль враз застлало непроницаемой серой мглой, земля вокруг высветилась, непривычно забелев в ночи, и Азевич с тревогой подумал: куда же он выйдет? Может, лучше было где-то укрыться от этой снежной круговерти, пересидеть, переждать. Если бы набрести на какую постройку или на хвойную чащу, ельник. Но нигде поблизости в поле не было даже дерева, на всем пространстве буйствовал ветер и снег. После снежной крупы с неба понеслись крупные хлопья, которые залепляли плечи, оседали на голове, в складках шинели, быстро покрывали землю; сзади потянулись его неровные, с земляной чернотой следы. Немало снега набилось в дырявый сапог, мокрая правая стопа начала отчаянно мерзнуть. Взмокло от снега его жесткое, покрытое недельной щетиной лицо, уши и руки. Как на беду, косогор вскоре уперся в серый от снега, низкорослый кустарник, приглядевшись к которому, Азевич понял, что впереди овраг. Заросший кустарником, тот широким провалом разлегся поперек пути. Что было делать, в какую сторону обходить? И можно ли было его обойти? Сквозь плотную пелену снегопада Азевич не много чего мог рассмотреть и, помедлив, полез в серую прорву оврага. Хватаясь за скользкие, холодные ветки, прошел шагов десять и упал, едва не до самого низа проехав на заду по травянистому склону. Здесь, внизу, было несколько тише, хотя вверху по всему овражному пространству несло потоками снега. Азевич немного посидел, справляясь с дыханием. Ему уже не было холодно, было душно, он весь взмок от пота, полы шинели и брюки тоже промокли, сердце напряженно билось. Очень не хотелось вставать, хотелось закрыть глаза и сидеть в этом, поросшем орешником рву, но опасность уснуть и замерзнуть вынудили его напрячься и встать. Надо было выбираться из снежной ловушки.

Он не ожидал, что выбраться из оврага окажется так трудно. Сапоги то и дело скользили на заснеженном склоне, глубоко разрывая старую листву под снегом. Как он ни пособлял себе руками, хватаясь за кустарник, все равно падал, разгребая коленями снег, затем, подтягиваясь на руках, переступал выше. Пробирался по склону наискось: так было удобнее. Но это отнимало массу времени — овраг оказался гораздо глубже, чем показалось сначала. Иногда ему казалось, что он никогда не выберется из него. За каким-то рогатым кустом на склоне сел, посидел, лихорадочно дыша и упираясь ногами в трухлявый пенек, чтобы не сползти назад. Снова он бы уже не выбрался. У него не оставалось сил, чтобы повторить этот путь сначала.

А снег все сыпал, несся над оврагом, курил белой пылью в лицо, облепил Азевича сплошь, с головы до пят. Наверно, и за пять шагов его невозможно было узнать, он стал похож на комель иссохшего дерева или корч. Наконец кое-как он выбрался на край оврага и упал — идти дальше уже не было сил. Мир и действительность застились от него сплошным снежным туманом, сознание, кажется, тоже едва мерцало, и он снова поймал себя на том, что засыпает. Но уснуть было все равно что погибнуть, а погибнуть он пока не хотел позволить себе и снова поднялся на ноги.

Дальше он брел, словно пьяный, по щиколотки в рыхлом снегу, слепо обходя кустарник, заросли мелколесья. Что его ждало за тем мелколесьем, лес, поле или деревня, он не имел понятия, он давно уже потерял ориентировку и совершенно не представлял здешних мест. В который раз подумал: хотя бы не выйти к речке. Речка бы его совсем погубила.

Речки, однако, впереди не оказалось, а заросли мелколесья вдруг кончились, он снова почувствовал под ногами твердь, возможно, скошенный луг или поле с прошлогодним жнивьем. Как всегда, на полевом просторе усилился ветер, снеговая крупа теперь секла по левой щеке, и Азевич, отворачиваясь, невольно забирал вправо. Разозлившись на полуоторванную подошву, изрядно надоевшую ему за дорогу, попытался вовсе оторвать ее от сапога, но только до крови расцарапал руки. Так и потащился дальше, сильно загребая сапогом снег; метель сзади скоро засыпала его следы. Идя с нагнутой головой, как было удобнее на ветру, едва не наткнулся на жерди разломанной, полузасыпанной снегом ограды. Совсем близко, затканные снеговой круговертью, серели стрехи каких-то построек, бревна стены без окон. Кажется, это были не избы, скорее, гумно и повети. Обрадовавшись, он перелез через низкие жердки ограды и пошел к крайней постройке.

Это низкое бревенчатое сооружение оказалось заброшенным, без дверей, сараем с черной дырявой стрехой, полным наметенного внутрь снега. Он лишь заглянул туда и направился к следующему, широкие ворота которого были плотно закрыты на щепочку в пробое — наверно, имело смысл и туда заглянуть. Одубевшими пальцами Азевич вынул щепку, осторожно приоткрыл половинку ворот. Из темноты на него пахнуло летними травяными запахами, внизу от ворот тянулись полосы наметенного снега, но, в общем, тут казалось тепло и тихо, и он притворил за собой ворота. В объявшей его темени вытянул руки, ступил шага три и уперся в высокий — выше него — омет соломы, осторожно отступил в сторону. Тут его руки наткнулись на холодные бревна стены, а ноги ступили на что-то рыхлое и шуршащее — кучу сухого гороха, что ли? Азевич обессилено упал и перевалился через эту кучу, подальше от ворот, ближе к стене, руками и ногами зарылся как можно глубже. Он уже чувствовал, что отсюда никуда не пойдет, его тело, издрожавшись на ветреной стуже, жаждало одного — сжаться, собраться в комок, как-либо согреться. Грудь переполняла горечь, дыхание долго не могло выровняться, он дрожал, трясся в ознобе и шумно, часто дышал. Сознание его постепенно меркло, перед взором продолжалась бесконечная снежная круговерть, он плыл в ней куда-то в мучительно-сладких сумерках. В душе его жило привычное ощущение опасности, застарелого страха, но не было силы одолеть этот страх или что-нибудь предпринять для спасения. Усталость подавляла даже инстинкт выживания.

### 6

...Как-то в начале весны он чистил на конюшне Белолобика, и секретарша позвала его к председателю исполкома. Егор торопливо вошел в кабинет, остановился у порога. Заруба сидел, тяжело привалившись к столу, он как-то слишком внимательно посмотрел на возчика. Тот на секунду испуганно замер под этим нелегким взглядом, но председатель лишь тяжело вздохнул и сказал, что сегодня и завтра они никуда не поедут. Если Егор имеет желание, то может съездить в свою Липовку, в которой, наверное же, не был с начала зимы. Егор очень обрадовался, быстренько собрался, запряг в возок Белолобика. С давно уже не испытанной радостью помчался знакомой дорогой через знакомые поля и деревни, краем Голубяницкой пущи. Спустя пару часов из-за леса показались заснеженные крыши изб под голыми ветвями деревьев. Это была его родная Липовка.

Дома на дворе его встретила мать с порожним ведерком в руках, в котором только что отнесла корм поросенку. Отца дома не было — с Ниной который день работал в лесу, тралевал бревна. Обещал приехать поздно вечером, и Егор подумал: что делать? Возвращаться в местечко или дожидаться отца? Решил, однако, ждать. Задал Белолобику сена, а сам съел яичницу, на скорую руку зажаренную матерью на загнетке. Угощая сына, мать не переставала расспрашивать, как он там, среди чужих людей, как и кем там досмотрен. Потом стала жаловаться на сельскую жизнь, на то, что крестьян загоняют в колхозы, а у колхозников все забирают: и хлеб, и картошку, и семена, инвентарь, лошадей. «Ой, будет голод, ой, поедим травки да мякины, что же это делается! Что они там, руководители ваши, с ума посходили, что ли, разве так можно обращаться с народом, в чем он виноват перед ними? Или они там нелюди все, в районе?..»

Слушать это Егору было не очень приятно, хотя все эти жалобы не были для него внове. На собраниях он уже наслушался и не такого. И он стал успокаивать мать, говорил, что, может, сначала и будет трудновато, но после... Государство даст трактора и комбайны, даст хороший скот на развод, семена, все наладится, и люди заживут лучше, чем жили единолично. Мать, похоже, слабо верила его словам, хотя постепенно и успокаивалась.

«Ну а как же ты, сынок, с женитьбой? На днях Насточка прибегала...» — «Насточка? А зачем?» — «Про тебя спрашивала. Говорила, за всю зиму — ни письма, ни привета. Как же ей быть? Сватаются к ней из Закорытья, так она спрашивала про тебя. А я уже думаю, лучше бы ты на ней женился, все-таки своя, близкая, а то еще какая комсомолка местечковая окрутит. Даст тогда Бог невесточку под старость». Егор молчал и думал: окручивает, считай, уже окрутила его местечковая и не комсомолка даже — коммунистка, не то что какая-то Насточка. Так он и сказал матери: «Пусть не дожидается. Видать, не судьба нам сойтись». Мать снова заплакала, наверно, почувствовав и тут что-то скверное.

Настроение его совсем испортилось от той новости про Насточку, хотя что уж ему теперь Насточка? Сидел за столом, ужинал, а из головы не выходила Полина, мучили мысли о последней встрече. И как теперь ему быть? И какой она с ним будет?

Вечером приехал из леса отец с сестрой, оба вымокшие, усталые и голодные. Отец наскоро поел, выругался на советскую власть и начал смолить свои самокрутки. Сестра Нина все расспрашивала, как он и что, хорошо ли ладит с начальством, много ли молодежи в местечке, часто ли устраивают танцы и есть ли у него там кто. Он отвечал скупо, уклончиво и, посмотрев коня, сказал, что пойдет спать. С полузабытым удовольствием лег в свою знакомую с детства, скрипучую кровать под наклеенной на стене картинкой — восстание на броненосце «Потемкин». Повглядывался в стволы орудий, во взбунтовавшихся матросов, перепуганных офицеров с наганами и улыбнулся. Радость его на том и окончилась. Наверно, кончалась и юность.

Назавтра утречком он уехал.

Мать на прощанье всплакнула, отец угрюмо молчал. Сестра пообещала перед Пасхой приехать поглядеть, как он живет. Может, браток приженился на какой-нибудь местечковой, да не хочет признаться. Примерила его буденовку, которая ей очень понравилась. Наверно, понравилась также и матери, та даже перестала плакать.

В исполкоме, куда он вернулся к обеду, сразу почувствовал: что-то случилось. Секретарши Риммы за столом не было, в приемной вообще было пусто, на двери кабинета Зарубы краснела большая сургучная печать. Азевич выскочил во двор, к конюшне, где на розвальнях сидел бородатый Волков, курил цигарку. «Что случилось?» — бросился к нему Егор. Старый фурман невидящим взглядом уставился в него. «А ничего». — «Как ничего? Где Заруба?» — «Зарубу взяли. Ночью». — «Ну а говорите — ничего!» — весь затрясся Егор. «А что ж такого? Всех берут. И Скубликова взяли. И Фирштейна. И ветеринара того однорукого. И нас поберут. Мать его растакую!.. Вот жизнь настала...»

Похоже, в местечке действительно творилось что-то неслыханное. На место Зарубы приехал какой-то маленький, злой человечек, которого сразу же посетил Милован. Полдня, до обеда, они о чем-то совещались, а на другой день была созвана сессия районного Совета. Съехалось немало народу, заседали в нардоме. Таких, как Азевич или Волков, туда, разумеется, не пускали, что там обсуждали, было неизвестно. Но районная газета напечатала широкий, на всю первую страницу, заголовок-призыв: «Врагам народа — никакой пощады!». И все стало понятно. Ниже была помещена статья, в которой ударник со спиртзавода разоблачал слепоту районного руководства, не разглядевшего врагов в собственных рядах. Другие авторы также призывали к бдительности. Враг между нами! Азевич весь день слонялся по исполкомовскому двору, бродил по улице. Подходил и к нардому, возле которого стояло множество саней, возков и розвальней приехавших из сел членов исполкома. В нардоме было и все райкомовское начальство, и комсомол, и женотдел. Егор думал, что, может, встретит Полину. До сумерек, однако, никого не увидел и, перекусив в пустоватой столовке, потащился в свою ригу.

А назавтра его позвали к комсомольскому секретарю Голодкову. Этот энергичный и говорливый парень с густым черным чубом объявил, что комсомолец Азевич кооптируется в райком комсомола и зачисляется на должность инструктора. «Так что, товарищ, сдавай своего скакуна и приходи на работу. Работы тьма, а кадры слабоваты, не убереглись от врагов, двоих арестовали органы, нужны свежие силы из народа, и ты, Азевич, как раз такая сила, хватит тебе крутить конские хвосты, надо организовывать молодежь на борьбу за интересы большевистской партии и советского народа». Он и еще говорил что-то все в том же духе, а Егор сидел, слушал и думал, что, может, пока не поздно, послушаться матери и дать дёру в деревню? Но нет, наверно, поздно. Хода назад, похоже, уже нет.

И надо же такому случиться, — выйдя из райкома, как раз на углу встретился с Полиной. Та остановилась, вгляделась в него. «Ну, поздравляю! Правильной дорогой идешь», — сказала она. Но прежней легкой игривости в ее голосе он не услышал, что-то суровое и чужое увиделось ему в ее взгляде. И он спросил: «Это ты помогла?» — «Я», — сказала она прямо. «За то, что тогда подписал?» — «Нет. За то, что буденовку надел», — загадочно ответила Полина и, не простившись, побежала дальше по улице. Егор постоял в раздумье, не зная, что делать, как теперь относиться к Полине.

Все-таки он стремился с ней встретиться, иногда и встречался, но всегда на людях — то в райкоме, то на улице, и Полина всегда сдержанно, сухо здоровалась, но не больше. Называла его «товарищ Азевич», будто забыла, как называла его прежде. Он ее не называл никак. Называть Полиной было неудобно, а по фамилии — товарищ Пташкина — у него не поворачивался язык.

Пусть себе Заруба и враг народа, и разоблаченный белогвардеец, но Егор у него кое-чему научился. Ну хотя бы как надо выступать. Наслушавшись за зиму его речей, он понял, что главное для оратора — уверенность. Не так важны слова, как важен тон, каким их произносят. Всегда надо настойчиво, уверенно, с напором; не мычать и мямлить, а резать первое, что идет с языка. Тогда тебя будут слушать и будут верить. Потому что как не поверить тому, кто сам убежден в своей вере?

А выступать приходилось часто. Почти каждый день разъезды по деревням, хуторам и сельским советам и всюду — собрания, заседания, совещания. Азевич быстро и без усилий постигал смысл новой работы, главным в которой было ускорение темпов коллективизации. И еще — выбивание планов заготовок хлеба, мяса, молока, шерсти, яиц и особенно льна. Одни только льнозаготовки доставляли столько забот, что голова шла кругом и многие недели не было покоя районному руководству.

Иногда, в редкие свободные вечера, в пустую ригу к нему заходил старый Исак. Астматически хрипя, присаживался на скамейку у порога и заводил длинный и нудный разговор, который Азевич не знал, как окончить. Обычно Исак начинал с международного положения, с проблем мировой революции. «Когда же это там поднимется рабочий класс, хватит ему спать, терпеть гнет мировой буржуазии. Да и мы тут прозябаем в одиночестве, строя коммуну, ходим в дырявых сапогах». Азевич ссылался на объективные причины в таком сложном деле, как мировая революция, упоминал измену делу революции со стороны европейской социал-демократии. Жмуря темный глаз, Исак внимательно слушал его объяснения и снова спрашивал: «Может, вы скажете, товарищ, почему это соревнование так здорово ширится, что мануфактуры нету ни в местечке, ни в городе, а очереди, когда ее привезут, выстраиваются от церкви до речки?» Азевич принимался объяснять про трудности с производством, но Исак задавал новый вопрос: «А где мы будем покупать яйца, если коллективизацию выполним на сто процентов? Десяток яиц на базаре стоит уже пятерку. Разве за них столько просили при царе?» Таких и других вопросов у него было множество, и, ответив на первые, Азевич начинал раздражаться логикой этого еврея, который не спорил, не опровергал его объяснений, терпеливо, до конца выслушивал их и спрашивал снова. При этом было очевидно, что не очень он ему верит. Скорее всего — не верит совсем. Так зачем спрашивать?

Органы между тем регулярно прореживали районное руководство, хватали весной, хватали летом. Азевич давно уже перестал ломать голову, за что или кого взяли. Как и все вокруг, он уже знал, что могут взять любого, лишь бы нашелся какой-нибудь повод. Впрочем, и без повода брали тоже. Это было, как судьба, как внезапная скверная болезнь. Между тем, несмотря на старательную работу ГПУ, количество работников районного аппарата не уменьшалось, даже увеличивалось. В райком прислали нового первого — длинного и худого, как жердь, товарища Дашевского. Неизвестно, где он работал прежде, похоже, на железной дороге, потому как явился в черной железнодорожной шинели и железнодорожной гимнастерке. Лицо имел болезненное, худое, в морщинах, но характер сразу показал железный. Будучи скупым на слова, выступал мало и редко, зато нецензурно, со вкусом ругался. На каждом совещании он кого-нибудь разоблачал, называл нацдемом или польским шпионом, и ночью того забирали органы неутомимого Милована. Аппарат у Милована также увеличился. Откуда-то прибыли два парня-гепеушника в штатском, которые сразу принялись что-то вынюхивать по конторам, листать документы, личные дела. Служащие с любопытством наблюдали за ними и с опаской ждали результатов.

Как-то в свободную субботу, раньше приехав из района, Азевич надумал сходить в баню. Там, однако, собралась очередь, и он с веником под мышкой сидел на скамейке у входа — ждал. Было солнечно, тепло, уже распустилась листва на деревьях, весна была в разгаре. Из бани вышел распаренный Милован вместе с одним из своих новых работников. Вытирая полотенцем потную свежеобритую голову, он заметил невдалеке Егора и кивнул ему — мол, подойди. Егор мысленно послал его на три буквы, но вынужден был подняться и подойти. «Ты все у Исака живешь?» — спросил гепеушник. «У Исака». — «Говорят, у него есть свободная комната?» — «Может, и есть, не знаю, — ответил Азевич, слегка обрадовавшись, что разговор пошел не о нем — о другом. — Я же одну занимаю». — «Есть, есть у него свободная жилплощадь», — сказал Милован, устраивая на лысой голове форменную фуражку с синим верхом и красным околышем. Рядом молча, со свертком белья в руках, стоял его спортивного вида сотрудник, внимательно вслушивался в разговор. «Ты вот что, Азевич, поговори с Исаком. Надо вот товарища Кмета устроить. Все-таки семья, двое детей, а жить негде. Потолкуй с евреем. А завтра скажешь». — «Хорошо, что ж, поговорить можно», — неопределенно пообещал Азевич. «И уговорить, — прибавил Милован. — Это тебе задание. От органов. Лады?»

Они пошли со двора к улице, а Азевич опять молча выругался. Называется, получил задание. Пусть бы сами шли и говорили с Исаком. Дождавшись своей очереди, он долго и с наслаждением мылся, потом расслабленно шел домой, будто оттягивая момент неприятного разговора. Почти был уверен, что Исак не согласится, откажет — зачем ему семья, да еще с малыми детьми? В цветнике перед домом разрастались пионы, взошли георгины, а с детьми... Особенно если мальчишки. Опять же за сараями зацветало несколько яблонь. Хотя цвета в этом году было мало и яблок ожидалось немного, но мальчишки истребят последние. Это он знал по себе. И все-таки надо было поговорить с хозяином, хотя бы передать ему просьбу главного гепеушника района. Ближе к вечеру он постучал в каморку Исака.

Наверно, у старого еврея тоже был выходной, он сидел дома. Азевич застал его с какой-то черной книгой в руках, на голове была ермолка. Исак не удивился приходу квартиранта, гостеприимно усадил его в узкое кресло с высоким подголовником. «Я к вам по делу, — начал Егор. — Говорят, у вас есть свободная комната...» — «Комната? — удивился Исак. — Какая это комната? Это курятник, а не комната. Разве в такой комнате может жить приличный человек? Вот посмотрите сами, идите сюда...» Он растворил дверь в соседнюю комнату и дал Азевичу заглянуть туда. Действительно, комната была весьма непривлекательная — не то сени, не то кухня при одном окошке во двор. «Понимаете, — сказал Егор. — Уполномоченный ГПУ товарищ Милован просит устроить своего товарища. Семья, а жить негде».

Исак сокрушенно шлепнул себя руками по бедрам, пробежал возле стола. «Ах, ах, негде жить! Но при чем тут Исак? Исак что — богатый домовладелец? Я — холодный сапожник. Что это, мой дом? Был мой. А теперь я сам тут квартирант, ничего не имею. Ни денег, ни прав, ни даже дров. Один этот угол». — «А у них и угла нет. Двое детей», — тихо вставил свое Азевич. Исак пробежал до порога и обратно, взглянул в окно. «Двое детей, двое детей... И у меня было двое детей, я знаю... Ба-ба-ба... Может, привезут дров, зимой теплее будет, а?.. Ну пусть. Скажите, пусть! Что уж тут делать...»

Азевич вовсе не обрадовался, скорее, опечалился от этого его согласия. Но, может, так будет и лучше. Может, из чувства признательности Милован перестанет приставать к нему со своими нуждами. Да не будет следить за ним, как некогда за Зарубой. Эти на все способны. А с Кметом он, может, даже подружится. Если по-соседски. Все-таки будет знакомый человек в их органах, от происков которых, как он уже понял, не застрахован никто. Тем более что он ждал приема в кандидаты партии, все документы уже оформил, собрал рекомендации. Рекомендации, кроме комсомола, дали заведующая орготделом райкома Скоблова, женщина из его сельсовета, недавняя учительница, а также товарищ по райкому комсомола Евген Войтешонок. Тот уже был членом ВКП(б), хотя по службе не слишком преуспел, может, потому, что был хромой от рождения. А так, в общем, казался неплохим, товарищеским парнем.

Азевич привыкал к новой комсомольско-партийной жизни в местечке, хотя родную деревню вспоминал с печалью. Немного угрызался при мысли о Насточке, о которой ничего не слышал с зимы. Может, вышла за кого замуж? Небольшую зарплату свою расходовал бережно, изредка питаясь в столовке, а больше — по хозяевам в командировках. Подаренную Полиной буденовку носил до зеленой травы и снял с неохотой — очень ему нравилась эта армейская буденовка. Весной справил себе новую одежку: брюки-галифе и кортовую гимнастерку, пошитые в артели. В таком полувоенном виде мало чем отличался от многих других районных работников. Почти все они внешним видом подстраивались под первого секретаря райкома Дашевского, зимой и летом ходившего в своей черной железнодорожной гимнастерке.

Полина снова перешла на работу в местечковую школу, и он редко видел ее. Похоже, однако, она его избегала: случайно встретившись, сухо здоровалась и спешила по своим делам. Он сильно переживал эту ее перемену, но ничего сделать не мог. Кажется, на свою беду, он продолжал любить эту, не понятную ему женщину.

Очень скоро после того разговора с Исаком в их доме появились новые квартиранты. Как-то, уже в сумерках, возвратясь из района, он столкнулся во дворе с двумя мальчуганами, отчаянно сцепившимися в борьбе за какую-то палку. Младший громко ревел, но палку не отдавал, старший решительно наседал на него, выкручивая ему руки. Появление незнакомого взрослого нисколько не охладило мальчишек, его окрик также на них не подействовал. Но вот на крыльцо вышел отец, гепеушник Кмет. Азевич ждал, что тот примется разнимать сыновей или хотя бы прикрикнет на них. Но отец минуту спокойно наблюдал за дракой, потом, когда старший отнял палку и отошел в сторону, напустился на младшего: «Чего ревешь? Не смей плакать! Ах, тебя обидели? А ты отомсти! Силы мало? Наращивай силу, учись у старшего брата. И не реви. Не ябедничай! Закаляй волю! Мужик ты или тряпка? Ах, мужик! Ну так догони Шурку и накостыляй в загривок...» Егор с интересом выслушал отцовское поучение — ему все это показалось странным. Дома, если он ненароком обижал сестру, родители задавали ему хорошую выволочку. Тут же, видно, была иная мораль. Передовая мораль нового времени.

В преимуществах этой морали он вскоре убедился. Гепеушник Кмет, хотя и был ненамного старше Азевича, держал себя с ним покровительственно, разговаривал, странно сузив глаза, и никогда ни о чем не спрашивал. Он даже не поблагодарил Азевича за его помощь с квартирой, да и Исака, видно, не очень почитал за хозяина. Низенькая калитка в его сад всегда был настежь растворена, и там вовсю хозяйничали мальчишки. Иногда туда заходил и отец, помогал сыновьям сбивать с верхних ветвей яблоки. Внизу уже ничего не осталось. Азевич не вмешивался в чужие дела, но думал, что хорошим это не кончится.

И в самом деле хорошим не кончилось — кончилось даже очень скверно.

Как-то в начале осени Азевич поздно вечером вернулся с дальнего конца района. Три дня они с Войтешонком мотались по деревням, создали две комсомольские организации, в трех провели общие собрания. Егор устал, как собака, а вдобавок опоздал в столовку и лег спать голодным. Показалось, только заснул, как в дверь постучали. Никто никогда к нему не стучался, он испуганно вскочил, торопясь, натянул галифе. На пороге стоял сосед Кмет в полной гепеушной форме, с портупеей через плечо и револьвером на боку. «Пойдете понятым!» — «Куда?» — не понял Азевич. «Тут рядом. За стенкой». — «Что значит за стенкой?» — недоуменно подумал Азевич, натягивая гимнастерку. Но только они вошли к Исаку, как все стало понятно: здесь начинался обыск. За столом при лампе что-то писал Милован, три гепеушника выкидывали из сундуков и комода Исаковы лохмотья, несколько еврейских книжек в черных обложках валялись на полу. Старый Исак, заложив за спину руки, в одной исподней сорочке стоял возле порога. Все сосредоточенно, угрюмо молчали.

Азевич сразу почувствовал себя будто виноватым в чем-то, хотя к тому, что тут происходило, он вроде не имел отношения. Но все-таки казалось, будто имел. Может, как понятой? Или еще кто? Понаблюдав, как гепеушники шарили по углам и разбрасывали по полу Исаково имущество, он понял, что ничего определенного они и не искали, что обыск делался ради проформы. И действительно, они ничего не нашли, кроме нескольких книг, названия которых Милован не мог прочитать. Он подозвал Исака. Тот недоуменно пожал плечами. «То, ваша милость, Тора. А это Талмуд». — «А, значит, ваша Библия, — догадался гепеушник. — Ну что ж, возьмем в качестве вещественного доказательства». Исак снова пожал плечами. Весь его унылый вид свидетельствовал о покорности судьбе или этим ночным посетителям. Обыск скоро закончился. Разбросанных вещей, одежды, каких-то запыленных шмоток никто не собирал, и они остались на полу. Милован дал подписать протокол. Исак покорно подписал, вздохнул и отошел к порогу. Подписал и Азевич, и Милован встал из-за стола. «Вы оденьте что», — сказал он Исаку будничным тоном и со вкусом зевнул: время было позднее. Исак понял, что значил этот совет, бросился в угол, дрожащими руками стал перебирать на вешалке одежду, повернулся в сторону Кмета. «Хотел сказать, товарищи, будете топить печку, так это... Трубу там надо посмотреть. Обмазать надо, а то дым проходит, так это, может огонь...» — «Не твоя забота, — грубо оборвал его Милован. — Посмотрит, кому положено».

Они все вышли. Последним выходил Кмет, дунул в лампу, и в комнате стало темно. Азевич побрел к своему крыльцу. Ночь выдалась теплая, тихая, мигали редкие звезды в небе. Азевич подумал, что, пожалуй, и он тут проживет недолго.

Он как в воду глядел.

Сразу после ареста Исака в его комнату вселился другой гепеушник — также с немалой семьей: двумя детьми, мальчиком и девочкой, и старухой-матерью. Новоселы начали устраиваться основательно и надолго, поменяли местами мебель, сломали дровяной сарай, истоптали цветник. Окна на улицу завесили какой-то брезентовой тканью, сквозь которую не проникал свет даже двенадцатилинейной лампы. С завалины во дворе убрали неширокую скамейку, на которой теплыми вечерами любил посидеть Исак. Зато поодаль, под тополем, появился физкультурный турник, по выходным оба гепеушника крутили на нем «солнце». И все-таки двум семьям тут было, наверно, тесно, и как-то утром, когда Азевич собирался на службу, к нему зашел Кмет. «Ну у тебя и простор, не то что у меня. Как в клубе! Лишь сцены недостает. Сколько метров будет?» — спросил он, стоя посередине помещения. «Четыре на пять, — сказал Азевич. — Значит, двадцать метров». — «Да, конечно, двадцать. Если четыре на пять». И гепеушник измерил комнату шагами — сначала вдоль, а потом поперек. «А у меня пятнадцать. Учти, на четырех. Несправедливо? Как ты считаешь, товарищ Азевич?» — «Я не выбирал», — сдержанно ответил Азевич. «Ясно, ты не выбирал, за тебя выбрали. Жилплощадь занимал буржуазный элемент. А мы его к ногтю. Теперь мы можем и выбрать. Правильно?» — «Выбирайте, — покорно сказал Азевич. — Ваше право...»

Азевич поехал по деревням и думал, что, пожалуй, надобно уступить. Потому что сделают то, что сделали с Исаком, эти ни перед чем не остановятся. Возвращаясь на повозке с Войтешонком, сказал, что будет искать квартиру. Войтешонок его понял. Сказал только: «Рви когти, и побыстрее. Можешь пожить у меня. Пока дочка у тещи». В тот же вечер Азевич собрал в узел свои небогатые пожитки и перешел к Войтешонку. В ригу, служившую ему год прибежищем, больше не заглянул ни разу.

У Войтешонка он прожил неделю или, может, несколько больше, пока жена Войтешонка, учительница, не нашла для него квартиру через четыре дома от своей, на той же улице. Это была старенькая, вросшая в землю хатка на низком берегу речушки, буйно обросшей лозняком да ольшаником. Жила в ней тихонькая, как мотылек, старая бабка Мальвина. Половина хатки пустовала. Там и поселился Егор.

Однако в тот раз в Мальвининой хатке он прожил недолго — из Минска пришла бумага с требованием прислать одного райкомовца на комсомольские курсы. Первый секретарь назначил Азевича как самого молодого, к тому же заметно не добравшего грамоты в школе. И Азевич три месяца прожил в шумном молодежном общежитии возле Немиги, зубрил большевистскую науку, ничего вокруг не замечая — ни города, ни театров, ни даже девчат. Было трудно, временами невыносимо, но он старался из последних сил, надо было изучить большевистскую науку, чтобы быть наравне с другими.

И вот поздней осенью, по свежей пороше, он ехал на крестьянской повозке со станции в свое местечко. В нагрудном кармане у него лежала бумажка, свидетельствующая, что он закончил комсомольские курсы, изучил тонкости организационно-молодежной работы и кое-что из теории марксизма-ленинизма. Экзамен по философскому труду товарища Сталина «Вопросы ленинизма» он сдал на «отлично» и считал себя теоретически вполне подготовленным. По крайней мере, не хуже своих друзей по комсомолу, которые пришли в райком из учителей и комсомольских курсов не кончали. Однако он немного сомневался, попадет ли на свою прежнюю должность в райкоме — все-таки прошло три месяца, и, наверно, место инструктора для него не держали. Взяли другого. Куда же назначат его?

В райкоме комсомола (об этом Егор слыхал еще в Минске) произошли некоторые перемены, пришел новый первый секретарь, которого Егор еще не знал. Он оказался довольно разбитным парнем по фамилии Молодцов, сразу учинившим Егору беглый экзамен по политграмоте. Этот экзамен Егор выдержал легко, все вопросы о смычке города с деревней, о роли комсомола в коллективизации, о решениях последнего съезда партии он знал назубок — из газет и недавних занятий на курсах. Тем более что, как почувствовал Азевич, этот комсомольский секретарь сам был не слишком политически подкован и даже спутал последний пункт резолюции съезда с повесткой дня его работы. Но в таких вопросах Азевич уже не был новичком и легко, будто бы с извинением, даже поправил секретаря райкома. Разговор закончился тем, что Азевич попросился на какую-нибудь работу в райкоме. Секретарь немного поморщился, сказал, что об этом ему надобно посоветоваться с партийным руководством, а вот на лесопилку секретарем тамошней комсомольской ячейки он может направить его хоть сегодня. Лесопилка, конечно, не очень привлекала Азевича, он представлял, какая там будет работа, но согласился. Если временно, конечно. На том и договорились. Искать в местечке квартиру ему не понадобилось. Половина Мальвининой хатки над речкой оставалась не занятой, и бабка с заметной радостью приняла его, даже жарко натопила печку на ночь, что прежде не часто случалось.

Уже на другой день поутру Азевич отправился на лесопилку. Там был немалый рабочий коллектив и ячейка КСМ, но не было секретаря. Куда тот исчез, Азевич узнал потом. А в тот день неторопливо шагал на окраину местечка, за баню. Слышно было, где-то за речкой пыхал старый паровичок и то и дело пронзительно визжала пила-циркулярка. Вечером комсомольцы лесопилки без долгого обсуждения избрали его секретарем, а назавтра он уже впрягся в работу по распиловке сосновых бревен, работу нелегкую, по плечу разве что молодым, сильным парням. Но он и был молодой и сильный, тяжелая работа его не пугала. Хуже было с рабочими, особенно молодыми, даже с некоторыми комсомольцами, в которых еще жили старые частнособственнические привычки: некоторые не прочь были выпить, сходить погулять с местечковыми девками или на танцы в ближайшую деревню. Многие отмечали религиозные праздники — колядовали, щелкали орехи на Рождество. Потребовалось немало настойчивости, чтобы заставить их заниматься политграмотой, привить охоту к лекциям и докладам, к антирелигиозной пропаганде. Сам он спал не более четырех часов в сутки, потому что, кроме работы на лесопилке, еще немало времени (особенно по вечерам) приходилось тратить на различные совещания в райкоме, а то ездил с кем-нибудь из начальства по району организовывать колхозы или выбивать план лесозаготовок. Для укрепления трудовой дисциплины и привития большевистских навыков труда в конторе повесили большую фанерную доску, одна половина которой была окрашена в черный цвет, а другая — в красный. Эта простая вещь сыграла немалую роль в социалистическом соревновании, что развернулось на лесопилке. Попасть на черную половину оказалось таким позором, что некоторые из рабочих дрались с учетчиками, а то и между собой, а больше с теми, кто попадал на красную половину. Директор лесопилки Хвощ даже намеревался снять доску, но комитет комсомола ее отстоял. В конце концов доску перевесили в комнату бухгалтерии, потому что в коридоре несколько раз ребята переписывали фамилии по-своему. Дела на лесопилке и в ячейке по немногу налаживались, месяц спустя Азевича уже хвалили в райкоме — за активизацию отстающей ячейки. Несколько раз на лесопилку наведывался товарищ Молодцов, часто бывал на собраниях инструктор Войтешонок. С ним Азевич продолжал дружить, тем более что жили они по соседству. Азевич уже более-менее пообвыкся на своей новой квартире у тихой бабки. Хатка была ветхая и, в общем, незавидная, густо обросшая кустарником и бурьяном, но приютившаяся в удобном месте, поодаль от улицы. Бабка не держала никакой живности, кроме ласковой белой кошечки, которая очень привязалась к квартиранту и, как только он приходил домой, нежно мяукая, бросалась ему под ноги. Впрочем, Азевичу редко случалось ласкать кошечку, с утра до поздней ночи он пропадал на лесопилке, где была прорва дел и забот.

Забот стало и еще больше, когда на лесопилку для трудового перевоспитания прислали нацдема Дорошку.

Дорошка также проживал в местечке, был постарше Азевича, учительствовал в школе и проявлял завидную активность в общественной жизни молодежи. Всю зиму в нардоме шли поставленные им юмористические пьесы на белорусском языке. Постановки эти очень нравились Азевичу, и он старался, когда было время, забежать в нардом, где смотрел и «Павлинку», и «Микитов лапоть», и «Пинскую шляхту». Наверно, Дорошка был неплохой режиссер, а случалось, и сам исполнял на сцене комические роли. В тот зимний день, когда он впервые появился на лесопилке, Азевич работал на распиловке, и кто-то позвал его на проходную — мол, пришел учитель из школы. Накануне в райкоме Азевича уже предупредили, что пришлют Дорошку. В легком пальтишке и шляпе, тот стоял возле проходной, постукивая каблуками старательно начищенных туфель (был порядочный морозик), руки прятал в карманах, варежек, конечно, у него не было. Что делать с ним на лесопилке? Азевич сначала хотел отправить его работать в контору, но передумал: какое же перевоспитание в конторе? И он послал нацдема на сырьевой склад. Дорошка молча взял топор и пошел к бригадиру Сугодичу, тот приставил его к огромному, заснеженному штабелю бревен, которые требовалось ошкурить. Полчаса спустя все, кто оказался поблизости, с веселым изумлением наблюдали, как учитель пытается обрубить кору с обмерзшего бревна, и Азевич испугался при мысли, что тот может себя поранить. С таким его умельством. Но сочувствовать нацдему не полагалось, следовало позаботиться о том, как перевоспитать его. Одним трудом тут, пожалуй, не обойтись, надо было повести с ним какую-то политработу, наставить его на правильный путь. Только как?

В конце рабочего дня Егор подошел к заметно уставшему нацдему, который, сидя на бревне, дышал на свои озябшие пальцы, поинтересовался: как работа? Вопреки ожиданию тот не стал жаловаться, скупо ответил: «А ничего. Наверно, не самая трудная?» Тут он был прав: ошкурка считалась у них не самой тяжелой работой, может, даже довольно легкой. Работа куда тяжелее ждала его впереди. А в тот раз они вместе пошли в местечко — неторопливо пошагали в вечерних сумерках, и Азевич ненавязчиво заговорил о сложностях классовой борьбы, в которой, конечно же, не избежать жертв. Дорошка выслушал его и сказал: «Да какая там борьба! Просто дурость взыграла». — «Какая дурость?» — «Обычная. От вековой темноты». Азевич несколько помедлил с ответом, подумав, что темнота — это что касается деревни, неграмотности, а тут все-таки райком, где сидят довольно образованные люди. Вон товарищ секретарь Молодцов учился в институте, Войтешонок окончил педтехникум, такие доклады шпарит в нардоме, ни разу не спотыкнется. Да и сам он кое-чему научился в Минске. Дорошка опять выслушал и задумчиво произнес: «Чем такая наука, лучше абсолютная безграмотность. У простых людей нет образования, зато есть здравый смысл». Так они, ни до чего не договорившись в тот вечер, дошли до переулка возле оврага, где квартировал Дорошка, и он вдруг предложил зайти в дом, продолжить разговор да попить чайку. Чайком Азевич не очень соблазнился, больше хотелось поесть — хорошо проголодался за зимний день на распиловке; он зашел.

У Дорошки была небольшая семья: жена, учительница начальных классов, и дочурка четырех лет — болезненное дитя с очень внимательным взглядом. Еще с ними жила старшая сестра Дорошки Христинка, тихая незамужняя женщина, бывшая у них нянькой, горничной, кухаркой — хозяйкой, одним словом. В тот раз Азевич не только попил чаю, но и неплохо поужинал ячневой кашей с салом. Христинка за вечер не произнесла ни слова, жена Дорошки скупо ответила на несколько незначительных вопросов мужа, сама ни о чем не спросив. Как-то неприятно отметив это, Азевич попытался в шутку заговорить о сегодняшнем дне хозяина, вспомнил, как тот неуклюже махал топором. «Может, как перевоспитаем вашего», — шутя сказал он хозяйке, на что та коротко буркнула: «Горбатого и могила не выпрямит», и смолкла. Азевич удивился, тем более что Дорошка никак не отреагировал на колкость жены, разве что ниже склонил голову над глиняной миской с кашей.

Перевоспитание его на лесопилке тем временем продолжалось. Неделю спустя бывшего нацдема поставили на погрузку-разгрузку древесного сырья и готовой продукции, и он с бригадой из пяти человек до вечера ворочал сырые, обмерзшие бревна, таскал их на вагонетки, выгружал доски и горбыли из пиловочного цеха. Тут ему дали брезентовые рукавицы и больше ничего, и скоро его легкое пальтишко превратилось в нечто непотребное, так же как и его фасонные туфли. Правда, нацдем не жаловался, не вздыхал даже, молча и сосредоточенно работал наравне со всеми, в меру своих, не слишком, однако, богатырских сил. Спектаклей в нардоме он уже не ставил, их уже не ставил никто. Вся массовая работа там ограничивалась антирелигиозными лекциями да нечастыми докладами о международном положении. После одного такого доклада, который, кстати, по поручению райкома делал Азевич, Дорошка подождал его на крыльце и сказал, что у него есть несколько замечаний по существу. Азевич, которого уже останавливали человека три с благодарностью за умный доклад, охотно остановился, заинтригованный. Дорошка сказал: «Вы упрощаете проблему интернационального». — «Как это?» — не понял Азевич. «А так. Рабочий класс Германии теперь совсем не тот, что был раньше». — «Ну это неверно, — сказал Азевич. — В газете написано...» — «И в газете неправильно написано».

Вот те и на! Азевич бы не удивился, если бы тот уличил его в какой-либо неточности, в собственной его, докладчика, ошибке. В то время он и в самом деле не очень уверенно чувствовал себя в роли лектора. Но с тем, что неправильно написано в газете, он согласиться не мог. К авторитету газеты всегда обращались и на лесопилке, и в райкоме. Газета, выходившая в Минске, а тем более в Москве, была верховным арбитром в каждом политическом споре, дело было лишь за тем, правильно ли процитирована газетная фраза, точно ли изложена. Каждый докладчик как можно ближе придерживался текста газеты, некоторые за время доклада ни разу не отрывали от нее взгляда, чтобы не ошибиться, не сказать что-либо не так, как там написано. Кажется, в том докладе Азевич нигде не допустил ни малейшей неточности, шпарил до конца по газете, а этот говорит: упрощает проблему.

Люди уже расходились, а они все стояли, и Дорошка, закурив, сказал: «Цитата о религии у вас тоже неточна. У Маркса о том иначе написано». Услышав это, Азевич почти испугался, но тут же и успокоился: уж эту цитату он слышал бессчетное число раз и помнил наизусть. Конечно, он не согласился со строптивым нацдемом, но тот решительно возразил: «Давайте проверим по первоисточнику». Что ж, Азевич был не против, но для этого следовало знать, по какому источнику можно проверить. Дорошка же, кажется, знал. Они зашли в библиотеку нардома, и там нацдем уверенно вытащил с длинной полки один том Маркса, полистал, затем взял другой и в самом деле нашел то, что было нужно. «Вот смотрите, что написано». Написано было действительно несколько иначе, чем цитировал Азевич: «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». «Вот так, — заметил Дорошка. — А не для народа. Цитаты требуют точности». Наверно, так, подумал Азевич, похоже, тут он дал маху. Но тогда что же получается? Кто кого перевоспитывает? Он, комсомольский секретарь, — нацдема, или нацдем — его?

Вопрос этот, не находя ответа, маячил в голове у Азевича, пожалуй, всю зиму, иногда тускнея, иногда разгораясь с особенной силой.

Как-то Дорошка дал почитать ему сборник статей Ленина о тактике социал-демократии, из которого Азевич кое-что запомнил, кое-что даже выписал, но поговорить с Дорошкой не успел. В это время в газетах появились статьи о правом уклоне и белорусских националистах, было напечатано открытое письмо Якуба Коласа с признанием собственных вредительских и контрреволюционных ошибок, и Азевич подумал, что наступило самое время поговорить о националистических грехах Дорошки. Для этого он однажды зашел к нему в выходной после обеда. Дорошка сидел подле окна с книгой в руках, Христинка зашивала его разорванную на лесопилке сорочку, девочка игралась с куклой на конце скамьи, жены не было дома. Азевич положил перед хозяином прихваченную им в райкоме газету с покаянным письмом Коласа. «Вот читайте. Сам признается». Дорошка быстро пробежал глазами по строчкам статьи и отбросил газету на пол. «Чушь собачья! Какая контрреволюционная деятельность? Вы читали “Новую землю”?» Нет, Азевич не читал «Новой земли», он о ней и не слышал. Дорошка перебрал несколько книжек на этажерке и одну, тоненькую, подал Азевичу. «Вот почитайте и скажите, чем это плохо? Что здесь контрреволюционного?» Азевич взял книжку, сунул за пазуху. Что ж, он почитает, хотя читать контрреволюционные произведения, наверно, не очень позволяется. Три вечера подряд он читал при мигающем свете коптилки — и все ему показалось там складно, понятно и даже близко. Узнавал многое из своей деревенской жизни: и как в детстве мать угощала ребят блинами, и как с дядькой Филиппом осматривали пчелиные ульи. Крестьянский быт был изображен так похоже, и люди — знакомые, узнаваемые, каких немало в каждой деревне, в каждом районе. Ну и природа тоже. Сама собою впечатляла главная забота крестьянина — земля, ее постоянная нехватка в деревне. Да и в его семье земли было мало, один малоурожайный надел, над которым в поте лица трудились отец с матерью. Потом, правда, как подросли, им стали помогать дети. Вроде зажили лучше, стало сытнее на столе, появилось кое-что из одежды. Думалось: может, как-нибудь жили бы и дальше, если бы не началась классовая борьба да эта коллективизация. Егору еще повезло: благодаря счастливому случаю или доброму человеку он вовремя вырвался из деревни, стал комсомольским работником. Вышел в люди. В деревне же остались прозябать в бедности, колхозы не могли выйти из упадка, колхозники едва выполняли планы обязательных заготовок всего — от яиц, молока до льна и хлеба.

От «Новой земли» дохнуло на Азевича давней, даже привлекательной крестьянской жизнью, но что было ответить Дорошке? То, что он чувствовал сердцем, по совести, он ответить не мог, не имел права. Он должен был содействовать процессу классовой борьбы и трудового перевоспитания нацдема, а не противодействовать этому процессу. И, когда спустя несколько дней они встретились утром на лесопилке, Азевич признался: «Хорошо Колас пишет про природу, про лес, но... Но революционных мыслей маловато, и рабочего класса нет». — «Ну и что, что нет? — спокойно сказал Дорошка. — Каждое произведение следует оценивать, исходя из того, что в нем есть, а не из того, чего там нет. У Пушкина тоже партячейки нет». — «Оно, может, и так, но...» — не нашелся, как ответить, Азевич, а Дорошка сказал: «Зайдем после работы, я вам дам и про рабочий класс. Тишки Гартного, например». Разумеется, Азевич зашел и потом несколько ночей подряд читал при коптилке «Соки целины», на этот раз постигая подробности совершенно не известной ему жизни рабочих в больших и малых городах. Тогда он уже перестал думать, что Дорошка как-то влияет на него, а не наоборот; просто тот открывал ему что-то такое, что было, может, и некстати в их повседневной жизни, но интересно и содержательно. Именно эти книги вынуждали его как-то по-иному взглянуть и на самого Дорошку. Азевич иногда пристальнее, чем прежде, вглядывался в его тонкое, худое лицо с маленькими быстрыми глазами, будто хотел понять, почему это он, казалось, и неплохой человек, умный и образованный, а вот стал нацдемом? Напрямую спросить о том он не решался — все-таки было неудобно лезть, может, с не приятными Дорошке расспросами, хотя сам он, Азевич, в сущности, не очень много понимал в позиции этих нацдемов.

Однажды они сидели за столом у Дорошки, перебирая новые и старые книги с этажерки, и тот как-то отрывисто, с паузами, рассказывал о событиях в Беларуси и на Украине со времен XVI столетия. И вдруг он умолк и, скользнув по лицу Азевича странным взглядом, спросил: «Думаешь, наверно, врет этот нацдем, под себя гребет?» — «Нет, почему...» — смешался Азевич. «Так теперь многие думают. Нацдем! Никакой я не нацдем, просто нормальный человек. Разве побольше патриот, чем другие. А патриот от националиста, знаешь, чем отличается?» — «Чем?» — спросил Азевич и насторожился. «А тем, что патриот любит свое, а националист ненавидит чужое». — «Может, и так», — подумал Азевич. Спорить ему с Дорошкой было не с руки, чувствовал: тот и в науках, и даже в политграмоте посильнее его. Конечно, человек окончил педтехникум, не то что он. Правда, он прошел неплохую трудовую школу, имел опыт комсомольской работы и теперь принадлежал к рабочему классу, авангарду социалистической революции. Наверно, это не меньше педтехникума. Тем более если Дорошка — нацдем. Но все же абсолютной уверенности в своей правоте Азевич не чувствовал, он уже убедился: в знаниях этот человек безусловно превосходит его.

Так они проработали зиму на лесопилке. Дорошка уже совсем освоился со многими операциями по обработке дерева не только на товарном или сырьевом дворе; несколько смен проработал рамщиком. И хотя был человеком физически не очень сильным, однако не жаловался, старался работать наравне со всеми.

И вот как-то в начале весны из райкома поступила команда провести обсуждение процесса перевоспитания нацдема. Как бы подбить итоги. Собрание проводили после работы в цеху. Собралось около полусотни человек, все в опилках, уставшие от работы, но со сдержанным любопытством на серых лицах — все-таки не каждый месяц у них собирались для перевоспитания нацдемов. Под тускло горевшей лампочкой за уставленным на штабелях досок столом уселось свое начальство, из райкома почему-то никого не было, и Азевич подумал, может, этак и лучше. Он выступил первым и рассказал, кто такой Дорошка и почему понадобилось это перевоспитание. Говорил негромко, старался спокойно, но уже с некоторым металлом в голосе, который успел приобрести на комсомольской работе. Потом с первого ряда внизу поднялся Дорошка и коротко рассказал о себе — что, в общем, никакая работа для него не в новость, что он сын крестьянина и всю молодость проработал у отца на хозяйстве, потом учился, и, чтобы съесть кусок хлеба, нередко приходилось разгружать вагоны на станции. Поэтому и на лесопилке ему не хуже, чем в любом другом месте, потому что работа везде работа. Потом Дорошке начали задавать вопросы: о недавно прошедшем съезде общества «Долой неграмотность», классовой борьбе в стране, вреде правого уклона и вредительстве в наркомземе республики. Дорошка отвечал легко и конкретно, вроде нигде не ошибаясь, как отметил Азевич, внимательно слушавший каждое его слово, будто тот был его учеником и сейчас держал нелегкий и ответственный экзамен. Все-таки он хотел, чтобы дело перевоспитания окончилось успешно.

Под конец кто-то из темных задних рядов спросил об отце: сколько земли тот имел и какое хозяйство. Люди притихли, посчитав, что именно в этом и таилась причина, по которой учитель попал в нацдемовскую западню. Иначе почему бы крестьянский сын и вдруг — нацдем. Но и тут неожиданности не произошло: у отца Дорошки было всего четыре десятины земли, одна лошадь, одна корова. И все. В обсуждении наступила заминка, о чем еще было спрашивать? И тогда из-за пилорамы вышел член ВКП(б) пильщик Коломашка. Как всегда, напустив на себя партийной важности, начал: «Это хорошо, что не кулацкий сын, хотя и не бедняк, как я понимаю, но ответь ты мне на такой вопрос: вот ты учитель и грамотный, а почему это ты по-белорусски разговариваешь?» И умолк. Стало тихо, люди снова насторожились, учуяв подвох. Дорошка спокойно ответил в том смысле, что белорусский язык — его родной язык, потому он на нем и разговаривает. Азевич подумал, что этот вопрос Коломашки, по-видимому, ни к чему, вряд ли он относится к повестке дня о перевоспитании, и сказал, не вставая: «У нас свобода, товарищи, каждый имеет право разговаривать, как пожелает». Кто-то его поддержал и бросил Коломашке: «Ты же сам по-белорусски говоришь», на что Коломашка невозмутимо заметил: «Потому что я малограмотный. А он учитель. Так почему же он избегает говорить по-русски?» В цеху опять все притихли, наверно, этот аргумент Коломашки был понят как неопровержимый, и Азевич не знал, как быть. Тем более что и Дорошка что-то промямлил и стоял, словно истукан.

Наверно, следовало переходить к принятию решения, которое было заготовлено на бумажке у Азевича, но в этот момент к нему наклонился Тетерук, заведующий лесопилкой, и сказал, что решение надо отложить. Почему отложить, Азевич не понял, но председатель собрания уже объявил, что решение о перевоспитании гражданина Дорошки откладывается на потом. И собрание перешло к следующему вопросу дня — сбору средств для заключенных в странах капитала по линии МОПРа[[12]](#footnote-12).

Недовольный и злой, шел Азевич в вечерних сумерках домой. После собрания его ненадолго задержали Тетерук с Петраковым — сказали, что Дорошке не повредит еще пару месяцев поработать в трудовом коллективе, мол, не до конца перевоспитался. Почему не до конца, о том они не сказали, пожалуй, сами не знали. Азевич, который знал больше их, думал, что Дорошке и перевоспитываться нечего. Никаких вредных наклонностей или враждебных намерений у него не замечалось, а знания... Знаний оттого, что он еще два месяца поработает на погрузке или на трелевке, у него не прибавится. Если не наоборот. Но вот попробуй докажи это твердокаменному Коломашке. Или даже заведующему. На углу возле местечковой столовки, куда направился Азевич поужинать, он неожиданно столкнулся с Милованом. Похоже, тот поджидал его, потому что, поздоровавшись, сразу повернул в его сторону. «Что, в столовку?» — «В столовку», — подтвердил Азевич, поняв, что эта встреча далеко не случайна. «Так ужинай и зайди к нам. Дело есть», — сказал Милован. Не понравилась эта встреча Азевичу, который уже начал догадываться, какое у них к нему дело. Проголодавшийся за день, он второпях проглотил остывшую порцию гуляша в пустой столовой, запил стаканом теплого чая и вышел. Очень не хотелось ему идти в белый поповский домик под липами, но и как было не пойти? Недолго помедлив, торопливым шагом пошел — наверно, его там ждали.

И в самом деле ждали. За столом, накрытым все тем же красным, в пятнах, ситцем, сидел в зябко наброшенной на плечи шинели Милован, исподлобья холодно взглянул на Азевича и, не ответив на его «добрый вечер», упрекнул: «Ждать заставляете». Азевич промолчал, присел на табурет. Милован немного вывернул фитиль в висевшей под потолком лампе, стало светлей. «Ну как собрание? Перевоспитали нацдема?» Азевич скупо ответил, что собрание решило отложить этот вопрос на потом. «Почему на потом? Вы что, намерены его воспитывать до победы мировой революции? Кто вам даст столько времени?» Азевич помолчал, соображая, как лучше ответить гепеушнику, который, уставясь в него, ждал. «Или он не поддается перевоспитанию?» — «Нет, почему? — сказал Азевич. — Работает неплохо». — «Работает! Работать будет, куда денется. А вот что он говорит? О своей нацдемовщине что говорит?» — «О нацдемовщине не очень...» — «А ты хотел, чтоб очень? Связь с кем держит?» — «Связь? — удивился Азевич. — Какую связь?» О связи он ничего не слышал, но Милован тут же уточнил: «С Дударом встречался?» — «С Дударом? — не понял Азевич. — С каким Дударом?» — «С писателем Дударом. В начале февраля приезжал к нему. Или вы там вместе сговорились? Может, он и тебя втянул в эту банду?»

Медля с ответом, Азевич припомнил один недавний случай, действительно происшедший в начале февраля. Как-то в выходной он забежал к Дорошке, чтобы отдать журнал «Полымя рэвалюцыi», который брал накануне из интереса к нашумевшей статье Лукаша Бэнде, и на пороге столкнулся с незнакомым парнем в полушубке; уходя, тот уже прощался с хозяином. Он только и услышал одну фразу: «Так напишите, если что». Парень ушел, а Азевич, оставшись с Дорошкой, спросил: «Кто это?» Хозяин ответил уклончиво: «Да так, приезжий один». Наверно, это и был Дудар, писатель. Но что теперь мог Азевич? Соврать, что ни с кем не встречался, — на это у него не хватило решимости, а вдруг они обо всем знают? И он коротко рассказал о недавней встрече у Дорошки.

«Значит, сказал: напишите? А о чем написать?» — опять уставился в него Милован. «Вот этого не знаю», — простодушно пожал плечами Азевич. «Так мы знаем, — холодно сказал гепеушник. — Про нацдемовскую агитацию... Да, да... Агитацию на лесопилке. А ты думал! Вот что, бери ручку и пиши». Решительным жестом он пододвинул гостю чернильницу с ручкой на краешке, положил лист бумаги. «А что писать?» — «Что слышал, то и пиши. О сговоре вести националистическую агитацию». — «Так я же ничего не слышал», — растерялся Азевич. «Ах, не слышал! Или не хочешь сообщить? Так вспомни Зарубу!»

Азевич явственно ощутил, как по его телу пробежал легкий озноб — в самом деле сделалось страшно. И без намека он всегда помнил свою позорную подпись, судьба председателя исполкома черным пятном лежала на его совести. И он тихо, но твердо сказал: «Нет, писать ничего не буду. Я ничего не знаю». — «Не знаешь?» — «Не знаю». Милован вдруг вскочил из-за стола, стукнул кулаком и завопил, напрягшись всем своим тщедушным телом: «Да ты думаешь, что говоришь? Ты отказываешься помогать органам?! Выкорчевывать белорусских фашистов?! Ты их покрываешь! Ты сам давно в их организации! Ты выполняешь их задания!..» Азевич сидел молча, пораженный бешенством этого начальника, который странно дергал своей бритой головой на тощей жилистой шее. Но вскоре отошел от первого испуга и подумал: «Кричи, кричи, хоть посиней!» Но гепеушник не синел, а лишь на полуслове оборвал крик и закашлялся. Кашлял долго, словно при коклюше, ненадолго прерывался, харкал куда-то под стол, вытирал рот скомканным платком и начинал кашлять снова. «Уж не чахотка ли?» — в изумлении, без жалости подумал Азевич. Похоже, однако, у Милована пошла кровь, потому что, в очередной раз сплюнув под стол, он вытерся, взглянул в платок и махнул рукой — иди! На пороге Азевич услышал: «Еще вызову!» — и торопливо выскочил на крыльцо.

Усталый и совершенно разбитый, он едва добрался до своей халупы над речкой. Не раздеваясь, сел возле стола, сидел, думал. Потершись о его ноги, уселась подле на полу ласковая кошечка. А он все думал. Может, плохо сделал, ослушавшись Милована, может, теперь посадят самого? И не знал, как ему быть с Дорошкой. Пойти сейчас к нему и рассказать обо всем, что произошло? Но что подумает о нем Дорошка? Наконец, не выдержав одиночества, потащился к Войтешонку. Тот в кальсонах отворил ему дверь, впустил на кухню, и Азевич сдержанно рассказал о своем вечернем злоключении. Войтешонок долго молчал, будто немой (Азевичу даже стало неловко), не сводя с него озабоченного взгляда. И Азевич сказал, что, пожалуй, надо предупредить обо всем Дорошку. Услышав это, Войтешонок испуганно вскочил со стула. «Ни в коем случае! Ты что! Загубишь себя и Дорошке не поможешь. Поверь мне, уж я-то знаю». Азевич поверил: все-таки его сосед работал в райкоме, не то что он — на лесопилке.

На том они и разошлись, а назавтра, придя на работу, Азевич услышал, что ночью Дорошку взяли. Люди уже досконально знали за что. Будто бы готовил диверсию на лесопилке и, вообще, был польский шпион. Лишь притворялся белорусом. Азевич слушал, что шепотом рассказывали люди, и думал: насчет польского шпиона, конечно, дикая чушь. Он припомнил один разговор с Дорошкой, когда тот ругал поляков за их давние происки против белорусских земель. Не любил нацдем поляков, это уж точно. А вообще, Азевич не знал, как отнестись к Дорошке, из-за которого ему выпало столько передряг этой зимой. Иногда появлялось тихое удовлетворение, что все-таки удалось избежать участия в его посадке. В общем, Азевич отнесся к нацдему почти честно: если не защитил, то не подпихнул. Не то что с Зарубой. История с Зарубой явилась для него хорошим уроком, он не забудет ее до смерти. Но обещание Милована вызвать его снова отравляло ему жизнь. Он со страхом ожидал этого вызова каждый день на работе, идя домой, бывая в райкоме, на улице или даже ночью, в тихой хатенке над речкой. Это мучительное ожидание продолжалось долго, но Милован почему-то медлил. А потом, видно, пришла очередь и самого Милована. Рассказывали, что поехал на совещание в Минск и оттуда так и не вернулся. Ни через день, ни через месяц. Пропал без следа и звука.

### 7

На какое-то время Азевич будто выпал из реальной жизни, утратил всякое ощущение действительности, оказался во сне, в липком мире видений. А может, просто погрузился в прошлое, которое было не лучше кошмарного сна. Как когда-то в детстве, охватило тревожное ощущение одиночества, покинутости, накатывал беспричинный страх. Потом начинало казаться, что за окном избы кто-то страшный. Егор закрывал глаза, а раскрыв, видел за стеклом тусклую звериную морду, конечно, это был волк. Волк стриг ушами, по-воровски выжидательно заглядывал в окно, может, чтобы пробраться в избу. С испугу Егор вроде просыпался, но ощущение одиночества не проходило, хотя теперь он чувствовал себя уже не ребенком — нынешним, взрослым. Тем не менее им владел все тот же давний детский испуг. И снова появлялась тень за тусклым окном, кажется, снова начинались видения, он так и не проснулся — просто не имел для этого силы. И он терпел, пока звериная морда сама по себе не померкла, не превратилась во что-то другое, такое же тусклое, неопределенное, но по-прежнему пугающе-мучительное.

Удивительно, но он не мог совладать с собой, не мог собрать силы, чтобы прорвать пелену сна. Он будто застрял где-то на меже призрачного сна и яви, чувствуя только, что ему плохо. Даже очень плохо. Что и где болело, этого он понять не мог, просто его одолевало страдание — может, больше болела истерзанная душа, чем тело. Хотя и тело ощущалось как сплошная немощная боль. Очень хотелось пить, казалось, все внутри иссохло, было то жарко, то холодно, и он инстинктивно зарывался все глубже в груду гороха, чтобы согреться. Только вряд ли он отдавал себе в этом отчет, так как уже перестал понимать, что он есть и где очутился.

Шло время, и в призрачном бреду снова чудилось что-то из давнего, давно пережитого; мучительное, оно соединялось с физической, не менее мучительной, болью. И только на короткое время он начинал ощущать ноющим телом жесткий шуршащий горох, хаос привидений отступал, но тут же душу снова охватывал страх того, что он скоро умрет. Умрет, как умер Городилов.

Он не знал, сколько прошло времени с того момента, как он заполз сюда, он вообще потерял ощущение времени. Однажды вдруг раскрыл глаза и увидел, как резко блестит рядом щель между бревнами, из которой тугой струей бьет свет. Увидел спутанные стручки гороха возле лица, что-то подумал или, может, попытался подумать и снова впал в забытье.

Другой раз его разбудил голос, показалось, где-то рядом разговаривает покойница-мать. На секунду ощутив себя озябшим и измученным, он, однако, тут же и потерял ее голос и снова провалился в бездну мучительно-сонной немощи. Это чередование беспамятства и яви тянулось долго, почти бесконечно, и бесконечно продолжались его муки. Иной раз он ловил себя на том, что пытается крикнуть, сам пугался этого и каким-то подсознательным усилием вырывался из беспамятства. Щели уже не было перед глазами, наверно, в бреду он повернулся или отполз от стены. В сарае посветлело, стало видно соломенное подстрешье с тремя ласточкиными гнездами между стропил. Под ними на балке сидел серый, нахохлившийся воробушек, напряженно вглядывался вниз, аккурат в самое его лицо. Как только Егор шевельнулся, воробушек чирикнул, шустро перепорхнул с места на место по толстой почерневшей балке. Это было первое проявление живого и с ним хилой надежды — может, он как-нибудь выберется. Он приподнял руку, будто приветствуя воробушка, и тот, чирикнув, сорвался с балки, исчез за кучей соломы на другом конце сарая.

Ветреную тишину сарая нарушили какие-то новые звуки, вроде доносившиеся из-за стены, снаружи. Азевич широко раскрыл глаза — в щели между бревнами скользнула и замерла какая-то тень, будто остановился кто-то. Он скосил взгляд в сторону, и там в щели мелькнуло что-то, замерло, притихло, словно прислушалось, и исчезло. Похоже, это была собака. Хорошо, что не залаяла, подумал Азевич, но, пожалуй, учуяла его здесь. А может, и не учуяла, может, так себе бегает по гумнам. Азевич от слабости закрыл глаза, стало не до собаки. Его вдруг затрясло в ознобе, сделалось нестерпимо холодно. Он сжался, съежился и последним усилием зарылся поглубже в ворох гороха, едва сдерживая мелкий стук зубов. Долго он не мог сдержать этот стук, не мог согреться и снова впал в беспамятство.

Второй раз очнулся с ощущением близкой опасности. Не совсем еще придя в сознание, притих, задержал разгоряченное дыхание, вслушался... Где-то рядом шуршала солома, но не от ветра, дувшего из щелей, — шуршала настойчиво, явно, с небольшими промежутками тишины. Азевич отстранил от лица мятые стебли гороха. Ничего поблизости он не увидел, но вдруг почувствовал, что из-под вороха гороха высунулись и торчат его ноги. Попытался незаметно подтянуть их, но, по-видимому, опоздал это сделать.

— А божухна!.. — прозвучало тихо, с удивлением, почти испуганно. Поняв, что обнаружен, он, уже не таясь, шумно, со стоном выдохнул и сбросил с груди пласт жесткого гороха. Потом попытался подняться, но не смог. Напротив стояла тетка в телогрейке и темном платке, она испуганно перекрестилась.

— Не бойся, мамаша, — сказал он, не услышав собственного голоса, таким тот оказался слабым. Пришлось повторить, глухо и болезненно. По-видимому, эта его болезненность придала тетке решимости, она ступила ближе, к груде гороха, напряженно рассматривая его под стеной.

— Что это?.. Или ранетый?..

И замерла, ожидая ответа.

— Болен я, тетка. Пить хочу...

— Пить? Так я сейчас. Я скоренько...

«Ну вот и попался, — мелькнула пугающая мысль. — Сейчас кого-то приведет... Немцев или полицаев». Но что ему было делать? Он уже ничего не мог — ни убегать, ни защищаться. Разве застрелиться. Застрелиться еще, пожалуй, силы нашлись бы. Где только его наган?

Наган был в кармане, под правым бедром, о нагане он не забывал, казалось, даже в беспамятстве. Жаль только, что в беспамятстве наган — не спасение. Но, может быть, он еще стерпит... Ему бы только попить...

Кажется, женщина опять оказалась рядом, а он и не заметил, как она ушла и вернулась. Зашуршал горох, опустясь на колени, тетка подала ему белую кружку. Он сделал еще одну попытку подняться, но не смог и снова упал на спину. Одной рукой тетка приподняла его голову, а другой поднесла к губам кружку. Вода показалась невкусной, его едва не стошнило. Но истерзанный жаром и жаждой, он все-таки выпил полкружки. Очень закружилась голова, все вокруг поплыло, словно в тумане...

— Ну спасибо.

— Может, еще чего?

— Нет, ничего, — только и смог произнести он и закрыл глаза. Показалось, вот-вот снова потеряет сознание. Потом, раскрыв глаза, увидел, что тетка сидит на прежнем месте, пристально вглядываясь в него. Он тоже присмотрелся к ней. Была она еще не старая, с увядшим, измученным лицом, выражение которого было так привычно знакомо Азевичу. Горе и печаль наложили свою непреходящую печать на лицо этой деревенской женщины.

— Что это у вас? Или, может, простуда? — озабоченно спрашивала она.

— Может, и простуда...

— Теперь такая пора — простудная. Или... может, тиф?

«Еще чего не хватало! — испуганно подумал Азевич. — Хотя, кто знает? Городилов умер, может, и от тифа». Тетка повглядывалась в него и сказала:

— Надо бы доктора. Да где его сейчас взять, доктора...

— Не надо доктора.

— Не, все-таки надо бы...

— Ни в коем случае. Я поправлюсь, тетка.

— Хорошо, если поправитесь. В хату вас надо, ага?

Он промолчал. В хату, конечно, было бы хорошо. Но...

— А какая это деревня, тетка?

— Так это Забродье.

Забродье, Забродье... Какое это Забродье, напряженно вспоминал Азевич. Ах, да это, видно, Забродье, где когда-то они били жорны[[13]](#footnote-13). Нет, не он, — тут ходила другая бригада. Кажется, во главе с Молодцовым. А немного дальше — и его Липовка. Значит, в ту вьюжную ночь его ноги вели... Сами вели в родную сторонку. Но почему так? На погибель, что ли?

— В хату не надо. Я тут...

— А кто же вы будете? Нездешний, наверно? — поинтересовалась тетка.

— Нет, нездешний.

— Издалека, наверно?

— Издалека, тетка...

Он врал с чистой совестью, потому что ему нельзя было оказаться узнанным.

Лучше так — неизвестно кто. Окруженец. Человек просто. Божий человек, как говорили прежде. Божьего человека всегда пожалеют, приютят, а то и защитят. А своего? Такого, как он?.. Нет, лучше, чтоб не узнали.

Азевич не очень хотел, да и не имел сил долго разговаривать с теткой, он снова прикрыл глаза. А та, наверно, поняв его состояние, забеспокоилась.

— Так как же вы? Холодно же тут. Может, я кожух принесу? Все теплее будет.

— Принеси, да, — согласился он.

Пошуршав горохом, она исчезла. Скоро, однако, появилась снова, молча накинула на него кожух, заботливо подвернула полы, и ему сразу стало тепло и уютно. Он не раскрывал глаз, притворяясь, что спит, однако слушая, как она трудно вздохнула рядом, побыла еще недолго и вышла, старательно притворив за собой дверь. С кожухом пришел к нему странный, давно не испытанный покой и умиротворение. Как бывало в детстве, когда в остывшей к утру избе его укрывал кожухом отец. Кожух источал тепло и покой, и он засыпал сладким младенческим сном, который приходит в детстве, а потом уже никогда.

В тот день под вечер ему опять стало плохо, то и дело сотрясал озноб, сделалось дьявольски холодно даже под кожухом. Он снова начал терять ощущение реальности и не сразу узнал тетку, принесшую ему пить — чего-то горячего, но странно невкусного, почти противного. Она о чем-то спрашивала его, а он вроде бы отвечал, но все воспринимал, словно в тумане, в стылой сутеми, казалось, полной глухой вязкой ваты.

Он теперь жаждал одного — забытья и покоя. Забытье и покой теперь были для него спасением от его знобкой болезненной пытки. Но в этот раз полного забытья не наступило, он все-таки ощущал себя в стылом сарае и лихорадочно думал, что, наверно, умрет, что у него тиф или пневмония. Или еще какая-нибудь холера. И ему становилось жаль себя, и накатывала обида на судьбу, вынудившую его к такой нелепости — смерти вдали от войны. В этом вот мрачном сарае, под горохом. Разве он думал когда, что ему уготован такой конец... Разве предвидел такое, уходя из отцовского дома, казалось, на несколько часов, а получилось — на всю жизнь. Такую безрадостную, как оказалось, жизнь.

Кажется, пришло время подбивать бабки? Перед концом в самый раз было этим заняться. Все-таки, хоть он и прожил немного (вроде совсем и не жил, только собирался), он приобрел кое-какой опыт. Конечно, хорошего в жизни было мало, в хорошем он явно не преуспел. Плохого же, того, как не надо, было более чем достаточно. Но почему так? Или он не хотел по-хорошему, ловчил, зловредничал? Он готов был вылезти из кожи, чтобы выполнить любое задание, как это требовалось от большевика. И что же получалось в итоге, кому его усердие было на руку? Только не ему, это точно. Чужая воля правила свой дьявольский бал на человеческих жизнях, и что на том балу зависело лично от Егора Азевича? Очень немногое, если не сказать — ничего. Он жил чужой совестью, по чужим законам, пользовался чужими средствами. Жизнь и люди распоряжались им, как хотели, он был удобным инструментом в чужих руках, всегда безвольно готовым к применению. И как было в тех условиях поставить себя иначе? Или хотя бы устраниться, предоставив грязное дело другим? Как бы ему это удалось, он не понимал и сейчас. За малейшее отступничество его бы в несколько дней стерли в порошок. А то и лишили бы жизни, как лишили ее куда более достойных, чем он. Потому выкручивался, как мог, выполняя все приказанное, страдал и стыдился. Только кому было снисходить до его чувств, когда требовался лишь результат.

### 8

...Однажды в воскресенье после работы он забежал в нардом — нужно было почитать свежие газеты. Особенно внимательно — последние постановления по сельскому хозяйству. Да и речь товарища Сталина на Пленуме ЦК он прочитал всего один раз, а этого было мало, на понедельник планировалось заседание партбюро, где его должны были принимать в партию. Всю ту неделю Егор волновался, волнение его все возрастало по мере приближения понедельника. Но он напряженно готовился. В воскресенье он засиделся в нардоме до самого закрытия и ушел последним. Повернув с улицы в узенький проезд к бабкиной хате, увидел во дворе Воронка. Конь, по-видимому, тоже узнал своего давнего хозяина, тревожно вскинул голову от телеги, на которой лежала охапка сена, и у Егора что-то жалостно встрепенулось в груди. Рядом на завалинке, свесив между колен большие руки, понуро сидел отец.

Егор сдержанно поздоровался, отец как-то порывисто вскочил, пожал его руку, может, хотел обняться или поцеловаться с сыном, но не решился, сбивчиво заговорил. И Егор увидел, как постарел отец — перестал бриться, глаза слезились, низко сползшие брюки были не очень аккуратно залатаны на коленях. «А я тебя, сынок, жду. Давно уже жду. Хотел уезжать, да бабка говорит: придет. Вот ты и пришел...» — «Немного задержался. Если бы знал...» — «Да и я не собирался. Мать говорит: не едь, на Покрова съездишь. Но тут такое дело...»

Они присели на завалинку, рядом беспокойно перебирала белыми лапками ласковая кошечка — хотела пройти в сени и побаивалась незнакомого человека. Поодаль, из зарослей крапивы, пристально наблюдал за ними задиристый бабкин петух. «Тут такое дело, сынок. Мужики говорят: съезди, может, Егор поможет, все-таки начальник... Жить стало невозможно — гонят в колхоз. А Калинин же сказал, чтоб добровольно, чтоб без принуждения. Писали, и Сталин так говорил, потому что у всех головокружение от таких порядков. А эти как взялись...» — «Кто эти?» — переспросил Егор. Разговор ему не понравился с самого начала. «Ну эти, сельсоветские, Прокопчук со Свириденком да уполномоченный еще, — отбиться невозможно. Так, может, ты бы тут перед Дашевским заступился. Может бы, дали послабление». — «Не дадут, — сказал Егор. — И не просите. Поставлена задача: к годовщине Октября всех коллективизировать. На сто процентов», — сказал он, помрачнев. Не хватало ему таких разговоров накануне приема в партию. Отец после этих его слов как-то сразу обвял, высморкался, вытер ладонью нос. «Значит, нет правды? И у нас нет, и у вас нет. Может, в Минске будет?» — и вопросительно взглянул на сына. «И в Минске вашей правды не будет. И в Москве тоже. Ваша правда кончилась. Другая начинается», — стараясь говорить как можно решительнее, объяснил Егор. На это отец, подумав, заметил: «Если наша, крестьянская, правда кончилась, так никакая не начнется. Тогда всему конец. Кранты!»

Егор не хотел спорить, начал пространно объяснять политику партии в области сельского хозяйства. Но отец сидел унылый, безучастный и скоро стал собираться домой. Егор не отговаривал, проводил даже с облегчением. Присутствие отца его уже угнетало, один вид его сильно постаревшего, унылого лица вызывал в нем жалостливую досаду.

Отец уехал, а Егор остаток того дня просидел над «Правдой» и своими записями — готовился к приему в партию, это его занимало более всех отцовских забот. Очень боялся засыпаться в райкоме, ошибиться в ответе на какой-либо вопрос, чего-то не знать. Боялся, что экзамен ему устроят придирчивый, и все оглядывал в мыслях свою коротенькую биографию. Но вроде — нигде ничего. Работал, старался, взысканий не имел ни в исполкоме, ни в райкоме комсомола. Чего было бояться? И все равно боялся.

Боялся, однако, не того, чего действительно следовало бояться. Вопросов на том заседании было немного. Спросили о задачах молодежи в деле смычки города с деревней, потом въедливая Ида Шварцман задала вопрос об оппозиции на третьем съезде РСДРП. Все это он знал и ответил более-менее правильно. Но вот Дашевский, прежде молчавший за своим секретарским столом, спросил резко и строго: «Отец вступил в колхоз?» Пол под ногами у Азевича пошатнулся, он едва выдавил из себя: «Еще не вступил», и все вскинули головы, с тревогой уставясь в него. «Ну вот, видали? — зловеще произнес Дашевский. — Ему проводить коллективизацию! Агитировать за колхозы! А у самого отец — единоличник! Или, может, даже кулак, а?» — «Нет, не кулак. Середняк», — тихо сказал Азевич. «Середняк, а в колхоз не вступает. В чем дело?»

Выручил Азевича его комсомольский начальник Молодцов, которого Егор в общем-то недолюбливал за его чересчур суетливый характер. Вскочив со своего постоянного места возле порога, тот объяснил, что знает отца Азевича (и когда только узнал?), что тот убежденный сторонник колхозного строя, а не вступил в колхоз лишь по той причине, что в их деревне колхоз еще не организовался, и тут большая вина не старшего Азевича, а районной партийной организации, в чем-то не доработавшей, не дошедшей до каждого трудового крестьянина с разъяснением преимуществ коллективного хозяйства, как того требует постановление ЦК ВКП(б) и лично товарищ Сталин. Все согласно закивали головами, а Дашевский пристукнул по столу ладонью, давая понять, что вопрос решен. Азевича приняли кандидатом ВКП(б).

Казалось, можно было передохнуть с облегчением, одна гора упала с плеч, но тут же свалилась другая. На том же заседании в райкоме приняли решение: завтра утром всем членам бюро райкома и активу, разбившись на бригады, выехать в еще не охваченные коллективизацией деревни и любой ценой выбить план хлебозаготовок. В особенно упрямых, саботажнических деревнях побить все жернова, чтоб не мололи зерно — сдавали государству. Случайно или по чьей-то злой воле Азевич попал в бригаду, оказаться в которой больше всего не хотел, — в бригаду Дашевского. Туда же были распределены Войтешонок и милиционер. Еще двое должны были присоединиться в сельсовете — из числа местного актива.

Утром сошлись возле райкома, подогнали повозки. Денек выдался серый, осенний, временами начинал накрапывать дождик, но вскоре переставал. Егор чувствовал себя очень неловко в милицейской линейке, рядом с Дашевским. Не то что когда-то с Зарубой. Тот, хотя и враг народа, но был мягкий, обходительный. Этот же — сталь! И взгляд исподлобья, звероватый, и лицо худое, костлявое. Войтешонок, видимо, как хромой сел с Дашевским, Азевич поместился в передке с милиционером-возчиком. На боку у того болтался наган в желтой кобуре, что придавало ездокам важности и вызывало чувство защищенности. Куда поедут, никто из них не представлял, и, лишь после того, как расселись, Дашевский вынул из железнодорожного кителя сложенную вчетверо бумажку. «Значит, так, — объявил он. — Первая деревня Кан... Кандыбовичи...» — «Кандыбичи, — поправил Войтешонок. — Это десять километров». — «Вот, едем в Кандыбовичи! Айда!»

Приехали в Кандыбичи, остановились возле здания сельсовета с флажком над крышей. Там уже дожидались — председатель, крестьянского вида мужчина в кортовой, с поясом, толстовке, и двое, видно, из актива. Дашевский, не слезая с линейки, спросил: «У каво жорны?» — «Так много у каво», — сказал председатель и полез в портфель. «А ну, становись, показывай!» — скомандовал Дашевский. Сельсоветский председатель неловко примостился на подножке, и они поехали по деревне. Зашли в сени первой хатёнки, откуда председатель сразу повел в истопку, где в запаутиненном углу приткнулись старые жернова. «Так, — Дашевский оглянулся. — Ты! — указал он на Азевича. — Снимай камень!»

Преодолевая неловкость, Егор подошел, поднатужился, снял тяжелый верхний камень, поставил на ребро, не зная, что делать дальше. «Давай, давай! — продолжал командовать Дашевский. — Выноси во двор и бей вдребезги!» Егор выволок тяжелый камень во двор, но разбить его не было обо что, и он прислонил свой груз к грязному боку линейки. «Что, не хватает силы? — гремел Дашевский. — О фундамент бей. Вон, об угловой камень». Азевич неумело ударил камнем об угол фундамента, камень отскочил и плоско лег в грязь. «Ну ты, неумека, мать твою перемать! — вызверился Дашевский. — Бей сильней! Как врага революции, бей! Чтоб искры из него — в бога душу мать!» Второй удар оказался удачнее первого, кругляк развалился на две неравные части.

В этот момент из хаты выскочила женщина с растрепанными волосами, подняла крик на всю деревню. Она так ругала и проклинала их, что стало не по себе, даже страшно стало. Предсельсовета принялся ее уговаривать, но женщина все кричала, словно в припадке, рвала на себе кофту и плакала. Из низкого окошка с любопытством смотрели во двор несколько замурзанных детских личиков. Дашевский, однако, ничего вроде бы не замечал, знал лишь одно — командовать.

За каких-нибудь пару часов они разбили около десятка жерновов, вдоволь наслушались крика, проклятий и ругани. В одном дворе, куда они вошли, хозяин, наверно, уже знал зачем. Это был плечистый молодой мужик, он спокойно снял верхний жерновой камень и ловко ударил им об угол. «Вот, сполнено. Будьте спокойны», — бросил несколько озадаченному этой добровольной исполнительностью Дашевскому и вытер о штаны руки. В крайней от выгона избе верхнего камня на жерновах не оказалось, не было и хозяина. Хозяйка же, какая-то дурноватая босая баба, ничего не хотела понять. На все вопросы председателя сельсовета и Дашевского отвечала: «Ничего не знаю, ничего не ведаю». — «Врет, сука, — сказал Дашевский. — Припрятали».

Когда они в полдень приехали в следующую деревню, Азевич не на шутку встревожился. Это была Ольховица, а недалеко, через поле, лежала его родная Липовка. «Неужто и туда? Неужто и туда?» — запульсировал в его голове пугающий вопрос. Но он не решался спросить о том Дашевского и молчал. В Ольховице они также побили немало круглых, новых и старых, толстых и стертых камней, снова над деревней несся плач и проклятия. Некоторые женщины просили, указывали на малых ребят, которых надо было кормить, клялись, что сдали все до последнего зернышка, больше ничего нет. «Ах, нет! — кричал Дашевский. — Так какого же черта рыдаете, если молоть нечего? Бей, Азевич!» И Азевич бил. Бил милиционер, бил хромой Войтешонок. В одной избе, правда, не побили. Вышла молодая женщина, спокойно улыбнулась и сообщила: «А мой в армии служит и командир, не имеете права». И показала фото курносого парня с двумя треугольниками в петлицах. Дашевский метнул взгляд на фото, на председателя сельсовета и молча повернул со двора. Тут не разбили.

Наконец и в Ольховице все было кончено. Оставили неразбитыми двое жерновов — в красноармейской семье и еще в одной хате, на двери которой висел амбарный замок. Дашевский приказал председателю сельсовета разбить, как появится хозяин.

Они все уже притомились без обеда, но первый секретарь, видно, не имел намерения давать им, да и себе отдыха. Он снова вынул из нагрудного кармана свой список, и Азевич обмер: что дальше? «Так, едем в Липовку! Где Липовка?» Войтешонок тревожно взглянул на Азевича, но тот не нашел в себе силы ответить. Вместо него вперед вышел ольховицкий председатель: «А вон, через поле! Вот этой дорожкой, товарищ первый секретарь...»

Пока они ехали хорошо знакомой Егору дорогой через поле, тот со страхом переживал предстоящее. И как было не переживать? Разве он думал когда-нибудь, что его приезд в родную деревню будет по такой надобности? Разве его тут ждали в такой его нынешней роли? Отец говорил, что некоторые сельчане ему завидовали: сын выбился в люди, хотя небольшой, но все же начальник в районе. И вот он едет, этот начальник. Как он посмотрит односельчанам в глаза, когда будет уничтожать их добро? Что они о нем скажут? Не какие-нибудь там незнакомые, чужие крестьяне, а свои, с детства знакомые мужики и бабы?

На липовской околице их встретил председатель Прокопчук и деревенская активистка Матруна Бабич. Они уже были в курсе, Дашевский только спросил: «Сколько дворов?» — «Одиннадцать», — с готовностью ответил председатель. «Так. Разбиваемся на две группы. Ты и ты, — указал он на Войтешонка и милиционера, — на ту сторону. А ты и женщина — на эту. Как твоя фамилия?» — спросил он Матруну. «Да Бабич я. Матруна». — «Так, Матруна, веди нас, показывай. А тем председатель укажет».

Все складывалось так, что хуже некуда, беда подступала все ближе. Правда, Дашевский, видимо, не знал, что Азевич из Липовки. Хоть бы Матруна не проговорилась, вдруг подумал он. Но что радости, что не проговорится, — они шли как раз по той стороне улицы, где через шесть дворов была и его изба. А в избе жернова. На которых и он немало помолол в свое время — на хлеб, на затирку, блины. Что тут будешь делать?..

Ошеломленный и подавленный, будто в нехорошем сне, он ходил с этими людьми по знакомым дворам, сухо, чужим голосом здоровался с соседями и молча направлялся в сени, тристен или истопку (с детства помнил, где что в каждой семье), снимал верхний камень и выносил на улицу. Он молчал. Бабы кричали и плакали, но их грозно осаживал Дашевский, а еще больше старалась активистка Матруна — сварливо, с поистине женской страстью и нетерпимостью. Иногда, накричавшись, она снижала тон и пускалась в рассуждения. «Надобно больше, бабы, о государстве заботиться, а не о себе, рабочий класс каждый кусок хлеба считает, не на буржуев отдаем, отдаем на оборону, на индустриализацию, бабы, мы уж как-нибудь перебьемся, лишь бы наш рабочий класс, который кует социализм, был сыт-доволен...»

Так они дошли и до подворья Азевичей.

Егор очень не хотел идти первым, невольно пытаясь укрыться за широкой спиной Дашевского; впереди по-мужски вразвалку шагала широкозадая Матруна. Но разве тут укроешься? Они уже входили в сени, растворилась дверь из горницы, и раздался испуганный вскрик сестры Нины: «Мама!» Показалась и мать, с побледневшим лицом, задрожавшими губами, она, похоже, хотела что-то сказать им, но словно потеряла голос. Егор рванулся к жерновам, обеими руками ухватил знакомый, давно уже не толстый и не очень тяжелый камень. Он ничего не хотел ни объяснять им, ни даже задерживаться тут. Бегом вынес камень на огород, где из бурьяна под тыном выглядывал крутой бок валуна, изо всех сил ударил по нему. Жерновой камень высек искру и развалился на три куска; Егор, пошатываясь, вернулся во двор. Дашевский на огород не пошел — наблюдал издали. Матруна стояла на крыльце, а из избы доносился глухой плач матери. Нина, слышно было, ее успокаивала. Хорошо еще, что дома не оказалось отца...

Остальное Егора уже не слишком тревожило, самое скверное он пережил. Что-то в его душе сломалось, и он явственно ощущал, что стал другим, чем прежде.

Они разбили еще два камня, и их дело в Липовке на том было кончено.

Возвращались в район молча, усталые, подавленные и голодные. Никто нигде не пригласил их перекусить, да и им было не до угощений. Дашевский всю дорогу угрюмо молчал. В районе, в деревнях его не любили, в местечке тоже. Он знал об этом и не пытался завоевать чье-либо расположение.

Азевич помнил, что все социальные передряги в районе крестьяне обычно относили на счет местного руководства. Считали, что именно местное начальство, вопреки мудрым указаниям Сталина, безжалостно загоняет мужиков в колхозы, облагает непомерным налогом, раскулачивает и ссылает, что на него надо жаловаться, писать Червякову или даже Калинину. И писали, собирали коллективные подписи под письмами — всей деревней или даже несколькими деревнями. Но все напрасно, послабления не наступало. Тогда думали: опять вмешались местные — милиция или ГПУ, перехватили письма, или они не туда послали, не так объяснили. Надо ехать самим, послать ходоков.

Долгое время так считал и Азевич — пока сам не начал работать в райкоме. И только в райкоме понял, что ошибался. Не местное начальство придумало бесчеловечную политику в отношении крестьянства — эта политика шла сверху. Может быть, с самого верха. Местные являлись лишь исполнителями, а иногда и смягчали предписанное, конечно, не от особой доброты, а, скорее, по неумелости, косности, а то и нерадивости. Иногда это заканчивалось для них плохо.

Азевич вспомнил Зарубу, который сам происходил из деревни и, кажется, не обладал необходимой для своей должности жесткостью. Не то что Дашевский. Пожалуй, Заруба никогда бы не допустил того, что творил сегодня Дашевский. Очень не хватало в районе Зарубы с его спокойным, размеренным характером. Не так его забот и работы, как самого присутствия на своем месте, в исполкоме. Очень жаль, что он оказался врагом. Хотя и слабо верилось в это, но все же... Разве мало было вокруг плохих людей, вредителей да шпионов. Может, и Зарубу они обманули, затащили в свой вредительский лагерь. Наверно, затащить его было несложно — все-таки прямодушный и бесхитростный был человек. Пока ехали в местечко, Азевич все думал о Зарубе и угрызался, что, по-видимому, и сам способствовал его погибели. Пусть не по своей воле, считай, через принуждение. Полина!.. Вот кто был его самой сильной болью и загадкой, может, на всю оставшуюся жизнь. Что она за человек, Полина? Что за женщина? Почему она так отнеслась к нему, деревенскому парню с его неискушенной доверчивостью и молодой дурью? Зачем он понадобился ей?

Приехали в местечко не поздно, но уже смерклось. Дашевский сошел возле райкома, остальные также повылезали из линейки. И когда милиционер немного отъехал, Войтешонок сказал: «Зайдем ко мне. Замочим это треклятое дело». Они пошли к Войтешонку, и Азевич в тот вечер впервые в жизни напился, как не напивался потом никогда. Заснул на чужой скамье, в углу, не раздетым. Евген его не будил до утра. Утром оба отправились на работу — было совещание секретарей, и Азевичу надлежало выступить — об авангардной роли комсомола в коллективизации сельского хозяйства района.

Двор бабкиной усадьбы, где квартировал Егор, отделял от соседнего старый трухлявый тын, до самого верха заросший кустами смородины с этой стороны и пионами с другой. Как-то поутру, торопливо собираясь на работу, Егор услышал сквозь раскрытое окно тихое девичье пение по ту сторону ограды. Хотя он прожил тут зиму и дождался лета, но как-то не нашел случая поинтересоваться теми, кто жил в соседях. Заинтригованный теперь этим пением, он высунулся из окна. Над зарослями смородины за тыном виднелась светлая, в кудряшках, голова девушки, которая возилась в освещенных солнцем цветах, тихонько напевая что-то, милое и ласковое. Слов он не мог разобрать, но голос ему очень понравился. Правда, слушать долго не было времени, надо было бежать на работу. В другой раз он увидел знакомую светлую головку случайно на улице. Спеша, попытался обогнать худенькую девочку в легоньком пестром платье и вдруг смекнул, что это соседка. Поравнявшись, шутливо сказал: «Вот по соседству живем, а не знакомы. Я у бабки, а вы рядом. Я видел...» — «Я знаю, — улыбнулась девушка. — Еще когда вы перебирались к Мальвине, видела». — «Вот как! А я не видел. Меня Егором зовут. А вас?» — «Меня Анеля». Анеля — вроде католичка, мысленно отметил Егор и спросил, чтобы продолжить разговор: «Куда вы идете? На работу?» — «Нет, не на работу. В нардом за билетами в кино». — «В кино? А на какой фильм?» — «Вы не знаете? „Катька-Бумажный Ранет“. Говорят, очень смешная картина. Надо торопиться, чтобы купить билет». — «Так купите и мне, — неожиданно для себя попросил Егор. — В девять вечера я постараюсь прийти. Сегодня еду в Залесский сельсовет, но к вечеру вернусь. Хорошо?» Анеля немного поколебалась с ответом, будто застеснялась даже, но он подумал, что ничего предосудительного в его просьбе нет — у него сейчас просто не было времени бежать в нардом. Похоже, девушка молча согласилась. На углу они разошлись — Егор побежал в райком, а Анеля повернула за синагогу в нардом.

Вечером, однако, он припоздал и едва не подвел девушку. Когда, весь в поту, прибежал к нардому, на улице перед ним уже было пусто, сеанс начался. Анеля в одиночестве стояла поодаль возле тополя, поглядывая в конец улицы, и он, завидя ее, приветливо помахал рукой. Их впустили в темный, полный народа зал, они пристроились где-то в последних рядах, сразу отдавшись интригующим перипетиям начавшегося фильма. Иногда Егор украдкой поглядывал на соседку, та сидела притихшая, казалось, целиком поглощенная экранной жизнью. И ничем не обнаруживала своих чувств, даже когда зал дружно смеялся над забавными ужимками киношного героя. Однажды лишь засмеялась, когда тот, прыгнув с моста в воду, поднялся затем во весь рост, смешной и растерянный. Егор тоже едва превозмогал смех, который время от времени все-таки в нем прорывался.

Когда вышли из нардома, было уже темно. Шли молча, несколько смущенно. Понемногу, однако, разговорились. Егор узнал, что Анеля работает в аптеке помощницей провизорши, что живут они в этом местечке шестой год, до этого жили в Полоцке, а родилась она в Ленинграде. Егор проводил ее до калитки, постоял недолго, и они простились. Правда, перед этим он попросил и в следующий раз брать два билета. «А не опоздаете?» — спросила она будто с упреком за его опоздание, и ему это было приятно. «Ну уж нет! — сказал он. — Живой или мертвый буду ровно в девять».

И напрасно пообещал так решительно — в следующий раз он вообще не попал на субботнее кино. В субботу и воскресенье просидел в Глубочанском сельском совете, где развалился организованный накануне колхоз и с ним комсомольская ячейка. Поудирали комсомольцы, кто куда. Вернувшись домой в понедельник, пошел в аптеку, но та уже закрылась, и он направился к калитке соседей. Постоял возле, послушал, надеясь, что Анеля заметит его и выйдет из дома. Но вместо дочери вышла мать, не старая еще женщина с гладко зачесанными волосами, в коротеньком передничке поверх юбки. Она сказала, что Анели пока нет дома, но должна вот-вот появиться, и если ему надо видеть ее, то лучше зайти в комнату, где можно будет ее подождать. Он подумал и несмело пошел через двор к двери.

Не у многих знакомых в местечке он бывал когда-нибудь дома, в основном ходил к Войтешонку. Большой стол у того всегда был завален учебниками, пачками ученических тетрадей жены-учительницы, там же стояли стаканы, валялись игрушки дочери; на кровати, сваленная в кучу, лежала одежда, между которой можно было и присесть, потому что стульев в доме было всего два. В доме же у Анели Егора приятно удивила не так обстановка — круглый стол под салфеткой, комод, диван, — как чистота и порядок. Пол был вымыт до желтизны, аккуратно застелен пестрой дорожкой. На всех трех небольших окошках с чистыми стеклами зеленели цветы; цветы были и на скамьях в простенках. Видимо, тут очень любили цветы, неудивительно, что густые их заросли занимали весь двор до тына. В углу за когда-то, наверно, очень красивым, а теперь сильно вытертым креслом высился старинный шкаф с книжными полками. Такой чистоты и порядка Егор еще не видел — ни в крестьянских избах, ни в важных казенных учреждениях.

Сразу, как он вошел, хозяйка вежливо пригласила его присесть в то самое кресло, и он, как сел, так и провалился почти до пола. «Вы наш сосед, квартирант бабки Мальвины? — с ласковой улыбкой спрашивала хозяйка. — Анеля рассказывала, как вы с ней ходили в кино. Она кино прямо обожает, не пропускает ни одной картины. Прежде с Линой, подругой, ходила, а теперь осталась одна. Линка поехала учиться в Витебск, а Анеле немного одиноко. Так вот вы...» — «Ну я так, за компанию, — сказал Егор. — Мне, знаете, не очень выпадает в кино: нет времени». — «Ну, разумеется, у вас нет свободного времени, вы же в райкоме работаете? Наш отец также совслужащий, правда, не такого масштаба, как вы, но свободного времени совершенно не имеет. Все работа, работа...» — «А где работает Анелин отец?» — спросил Егор, это было для него важно. «Да он на льнозаводе. Бухгалтером», — ответила женщина, стоя с полотенцем по другую сторону стола. Егор его припомнил, как-то он знакомился на одном совещании с бухгалтером льнозавода, немолодым уже, тихим человеком в очках. Льнозавод не выполнил план, и все его руководство на бюро райкома получило строгую взбучку от Дашевского. Думали, директора посадят, да как-то обошлось.

«Анеля должна подойти, а пока я угощу вас чайком с малиной. Ну и книги можете полистать. Вон Дюма у нас есть. Или Достоевского, если уважаете». Хозяйка вышла, а он обернулся к шкафу с книгами. Здесь было много мягких книжек с разрезанными страницами, а еще больше толстых, в твердых кожаных переплетах. Егор вытащил одну, полистал, но рисунков в ней не оказалось, и он взял другую. Рядом стояла и еще такая же, и еще. Он почувствовал что-то, похожее на сожаление, — все-таки столько человеческой мудрости осталось в стороне от него, было даже обидно. Но такова жизнь, личная его судьба. До всего не дотянешься, вздыхая, подумал он.

Хозяйка тем временем принесла стакан чаю и блюдце с вареньем, но он не торопился пить. Он не мог оторваться от книг, все рассматривал корешки, обложки; авторы были ему почти сплошь не знакомы. Кроме нескольких имен — Толстого, Пушкина да двух белорусов — Черного и Купалы. Такого богатства он не видел даже в довольно большой библиотеке нардома, где, как хвалился ее заведующий, было самое полное собрание трудов классиков марксизма-ленинизма. «Понравились вам книжки? — спросила хозяйка. — Дюма, Вальтера Скотта, Гюго Анеля прочла еще в школе. Очень любила читать. Теперь меньше читает. Все-таки подросла, техникум окончила». — «Какой окончила техникум?» — спросил Егор. «Фармацевтический, — сказала хозяйка. — А я фельдшерицей работала. Сейчас не работаю». Хозяйка скромно замолчала. Егор хотел спросить, почему она сейчас не работает, но в это время стукнула дверь и в комнату впорхнула Анеля. Увидела его, и щеки ее порозовели. «Мама! — воскликнула она и весело засмеялась. — Вы моего кавалера чайком угощаете? У него же, наверно, нет времени. Он человек партийный и на свидания не приходит». — «Ничего, как раз сегодня есть время». — «Правда? Тогда мы вместе отметим юбилей моего папочки», — радостно объявила Анеля. Егор заколебался, девушка, видно, заметила это и энергично запротестовала: «Нет, нет, не отказывайтесь! Папочка будет рад. Я уже ему рассказала, как мы ходили на „Катьку“, а он когда-то знал этого режиссера. Когда мы жили в Питере. Попросим рассказать, будет интересно».

Чтобы не мешать матери и дочери накрывать на стол, Егор прошел в боковую, наверно, Анелину комнату с аккуратно застеленной кроватью, столиком у окна. Здесь также было полно цветов, делавших комнату несколько темноватой. Анеля усадила Егора возле столика с книгами, одна из которых выделялась непомерной толщиной, и Егор осторожно вытащил ее из-под груды других. Это была не книга, а старый семейный альбом для фотографий. Оставшись один, Егор начал рассматривать незнакомые лица мужчин, молодых и старых, с бородами и форсистыми усиками, в мундирах с рядами блестящих пуговиц, дам в длинных роскошных юбках, старательно причесанных девушек и подростков, густо разместившихся на старых фотографиях. Были тут и офицеры с шашками, в погонах, и даже один, наверно, важный священнослужитель с большим крестом на широкой груди. Интересно было их рассматривать, хотя Егор и понимал, что все они наверняка являлись врагами пролетариата, не достойными его уважения. Он еще не долистал альбом, как в комнату забежала Анеля в коротеньком передничке, повязанном на тонкой талии. «Неужто интересно? — удивилась она. — Да не надо это смотреть!» — и потянулась отнять альбом. «Нет, почему — интересно. Столько фотографий!» — «Вся родня тут, еще с прошлого столетия. Все питерские». — «И ты тут есть?» — поинтересовался Егор. «Ой, я соплячка еще, вот, в самом конце, снималась еще в школе». Она перевернула несколько жестких листов альбома и указала на две бледные фотографии, наверно, десятилетней девочки, напряженно застывшей перед аппаратом. «А это кто?» — кивнул он на фотографию человека в форменной тужурке, с галстуком и в очках; что-то в нем показалось Егору знакомым. «Да это же наш папочка, — сказала Анеля. — В молодости. Еще когда в гимназии преподавал». — «А он что, учитель?» — «Преподаватель математики. А сейчас бухгалтер». — «Так, так, — проговорил Егор, ощутив, что позади у этих людей какая-то жизненная драма. — А этот поп?» — указал Егор на священника. «Это мой дядюшка, архиерей. Он умер уже... Я была его любимой племянницей», — вздохнула Анеля. Егор повглядывался в священника и ничего не сказал.

Немного погодя пришел с работы и хозяин, полный, трудно дышавший человек в очках. Жена и дочь, целуя его, поздравляли с юбилеем, потом Анеля познакомила его с Егором. Отец тепло пожал его руку: «Бухгалтер Свидерский». Он переоделся за шкафом — скинул поношенную толстовку и надел белую сорочку в полоску, галстук, жилет и черный, потертый, но еще весьма приличный пиджак. На столе с огромным букетом пионов посередине уже белели четыре тарелки, возле них ножи-вилки — каждому по паре. Егор присмотрелся: уж не серебро ли? Может, и не серебро, но красивые, ничего не скажешь. Хозяйка поставила перед каждым по небольшой рюмке, наверняка для выпивки, и Егор почувствовал неловкость от этой изысканности, которая была для него непривычна. Сев за стол, он какое-то время не решался дотронуться до этих изящных вещей, не знал, что взять в какую руку, и смешался от собственной неловкости. В голову откуда-то явилось и зазвучало нелепое слово «обывательство, обывательство...». Тем не менее все-таки приятным было это «обывательство»...

Угощение, однако, оказалось довольно скромным: тушеная капуста и драники в сметане. Они с хозяином выпили по рюмке какой-то сладкой наливки, жена и дочь лишь пригубили, пожелав Свидерскому здоровья и успехов в работе. Тот только вздохнул: «Думал ли когда, что таким будет мое пятидесятилетие...» Егор после выпивки не закусывал, все-таки он чувствовал себя очень скованно в этой небольшой, судя по всему, дружной семье. Но скованность медленно проходила, таяла в праздничной атмосфере взаимного уважения и доброты, немалая часть которых перепадала и гостю. В конце обеда Свидерский действительно рассказал о встрече с режиссером фильма «Катька-Бумажный Ранет», с которым он когда-то сыграл в карты и даже обыграл его на небольшую сумму, и режиссер обещал вернуть проигрыш, чего, однако, не успел сделать по причине вынужденного и поспешного отъезда Свидерских из Ленинграда.

Остаток того дня Егор с Анелей гуляли над речкой, и Анеля тихонько рассказывала ему об их жизни в Питере, где отец когда-то преподавал в гимназии. До революции, конечно. Отец происходил из простой семьи, его брат даже был видным революционером, социал-демократом, сидел в тюрьмах, а потом эмигрировал в Германию. А вот с матерью было сложнее — мама была из дворянского рода. Все эти офицеры и дамы в альбоме — родственники по матери, из-за них семью гимназического учителя Свидерского и выслали из Ленинграда. Три года они прожили в Полоцке, но вынуждены были уехать и оттуда. Так вот и очутились в местечке, и дальше ехать было некуда. Наверно, тут уж отцу с матерью и суждено доживать. А с ними и ей, Анеле, которая их очень любит и никогда не оставит.

Они медленно шли узенькой, хорошо протоптанной стежкой. У речки в вечерних сумерках высились темные ольхи, оттуда тянуло сыростью, рядом светлело пестренькое платье Анели. «Ты комсомолка?» — спросил Егор. «Нет, — вздохнув, сказала она. — Кто же меня в комсомол примет?» Он не возразил. Действительно, такое, далеко не пролетарское происхождение будет во многом ограничивать ее в жизни. Это похуже, чем происходить из крестьян-середняков. Это, пожалуй, как кулацкое происхождение. Если не хуже.

Для Азевича настало время новых забот и волнений. Где бы он ни был днем, как только наступал вечер, бежал к соседям, и они с Анелей шли или к речке, или в нардом, если там было что-либо интересное, или просто сидели на скамейке за кустами пионов. Анеля оказалась умненькой, говорливой девушкой, прочитавшей немало книг, и теперь она рассказывала содержание некоторых из них Егору, который, конечно же, не прочитал и десятой доли того. Она пересказала ему два романа Александра Дюма, «Айвенго» Вальтера Скотта, «Крестоносцев» Сенкевича, «Дон Кихота» он взял домой, чтобы прочесть самому, но не было времени, и он одолел лишь сотню страниц этой толстой книги. В дождливые вечера обычно сидели в Анелиной боковушке и тихо беседовали о разных разностях. Именно там, в боковушке, он впервые поцеловал ее, девушка очень испугалась его поцелуя и замолчала в волнении. Он обнял ее и в порыве неизведанной нежности мысленно решил: женюсь. Хотел тут же сказать об этом Анеле, или, как писали в старых книгах, «попросить руки», но что-то помешало этому, может, его застенчивость. Наверно, надо было подождать, выбрать другой, более подходящий момент. Или набраться недостающей решимости. Так или иначе, он не сказал того единственного слова, и кто знает, может, и к лучшему. А может, и нет. Вполне возможно, что он совершил самую свою большую ошибку в жизни.

Накануне той ночи он несколько дней пробыл в районе, вернулся поздно, улица уже спала, нигде не светилось ни одного окошка. Он подошел к соседской калитке, постоял, послушал. В окне Анелиной комнаты было темно. Время, наверно, перевалило за полночь, и он пошел в свою хибарку, не сразу, но крепко уснул. Проснулся поздновато, в нижней сорочке вышел умыться на двор и увидел бабку Мальвину. При его появлении она сразу поднялась с завалинки, и он понял: ждала его.

«Несчастье у соседей. Бухгалтера ночью взяли». — «Кто взял?» — опешил Егор. «А кто же их знает. Хапун, наверно».

Егор повернулся и, не умывшись, побрел на свою половину. Дрожащими руками надел сорочку и, ошеломленный, пошел в райком. Ни в тот день, ни на следующий он не набрался решимости зайти к соседям, думал, Анеля прибежит к нему, но она не прибегала.

Он не видел ее, может, месяц или больше, а случайно встретившись однажды возле базара, перешел на другую сторону улицы. Он боялся встречи с ней и ее бедой, как боятся встречи с близкими покойника или преступника. Очень неприятно ему было вспоминать свои посещения квартиры Свидерского, изобличенного во вредительстве на льнозаводе, хотя сердце по его дочери еще болело долго. Пока не отболело совсем...

Вдоль и поперек исколесив район, Азевич обычно избегал своего родного угла. Чувствовал, что посещение родных мест, особенно после памятной осени, когда разбивали жернова, не принесет радости ни ему, ни его односельчанам. Если уж обязательно надо было ехать кому-то в Липовку, то ехал Войтешонок, также избегавший визитов в свое родное село Завишье. Обычно в Завишье ехал Азевич, где он чувствовал себя свободнее, ибо знал лишь колхозное руководство да кое-кого из комсомольского актива.

Но вот так случилось однажды, что в связи с подпиской на заем выезжали решительно все: райком партии, райисполком, райком комсомола, весь районный и партийный актив. Из округа и Минска прибыли уполномоченные, райком разбил всех на бригады. И кому-то из руководителей вздумалось назначить Азевича именно в Липовку. Когда он пошел в орготдел поменять назначение, заведующий орготделом Потебун только развел руками: оказывается, списки уже утвердил лично товарищ Дашевский. К тому же, мол, ему, Азевичу, в родной деревне подписку будет проводить легче, потому как знает каждого из земляков — кто что имеет и чем дышит.

Ничего не поделаешь — пришлось Азевичу ехать в Липовку.

Ехать должны были втроем: кроме Азевича, еще райпрокурор Городилов, недавно присланный из Минска, и Яговдик из райзага. Но в последний момент Яговдика перебросили в другую бригаду, а ему, Азевичу, сказали: «Управитесь и вдвоем». Так они погожим апрельским днем выехали на подводе в его родные места.

Пока ехали, Егор сильно тревожился. Организованный в Липовке колхоз влачил жалкое существование, семян для посевной не хватило, лошади за зиму отощали от бескормицы. За год в колхозе сменилось три председателя: одного посадили за вредительство, другой удрал — уехал неизвестно куда, прихватив две тысячи колхозных денег. Сейчас там председательствовал Микитенок-старший, в общем, рачительный, но малограмотный и мягковатый человек, какая-то дальняя родня Азевичей. Несколько раз он приезжал в райцентр и по разным надобностям обращался к Азевичу, но чем ему мог пособить райкомовский инструктор? Бесполезно было обращаться и к самому Дашевскому, который ничего не мог и не имел, кроме хриплого, сорванного от беспрестанной матерщины голоса. Азевич знал, что в Липовке, как и повсюду, было голодно, хлеба уже в апреле ни у кого не осталось, доедали картошку. Он взял с собой в портфель полбуханки и банку рыбных консервов, полученные на три дня по карточкам. Прокурор Городилов, судя по всему, был человек городской и всю дорогу восхищался пейзажами: «Какой очаровательный березняк! Какое живописное озеро!». Азевичу же было не до пейзажей, он думал: как там у матери? Отца она схоронила зимой, Егор из-за своей работы не смог даже съездить на похороны — был на семинаре в округе и узнал о смерти отца неделю спустя. Теперь там мать и сестра. Сестра так и не вышла замуж — поразъехались женихи, а те, что остались, думали не о женитьбе — о том, как прокормиться.

Они приехали в Липовку перед вечером. Собирать мужиков, наверно, было еще рано, и Егор поехал в дальний конец села к матери. Все думал: дома ли мама, где Нина? С этой мыслью вошел в свой двор, несколько удивившись, что с обычного места исчезли ворота, а на дровосеке лежало всего три сырых палки. Значит, скверные дела и с дровами, подумал он. Дверь сараюшки, где когда-то у них стояли свиньи, была растворена настежь, значит, нет и свиней.

Впереди прокурора он молча вошел в избу, невольно заметив, что потолок ее стал еще ниже. Все искал взглядом мать, как откуда-то из-за печи послышался ее голос — слабый, болезненный голос, отдавшийся в нем внезапной тревогой.

Предчувствие его не обмануло — мать хворала. Не сразу, погодя, вышла к сыну, закутанная в какие-то тряпки, заплакала. Он тоже готов был заплакать, но присутствие постороннего человека сдерживало. Уполномоченный Городилов, кажется, тронутый этой встречей, нерешительно стоял посреди избы, не зная, куда приткнуться. Егор спросил о Нине, и тогда оказалось, что мать живет в одиночестве. Нина уехала на шахты, потому что здесь жить стало невозможно — есть нечего, надеть тоже. «А как же ты?» — вырвалось у Егора. «Что ж, сынок, мне уже подходит конец, хотя бы вам было лучше, чтоб уже вы, молодые, жили. А мне пора следом за батькой, к нему, в песочек...»

Со стонами и охами мать принялась ладить угощение, но что-то у нее не ладилось. Хлеба не было вовсе, она положила на стол две засохшие лепешки-травники, принесла откуда-то пожелтевший кусок сала и с детства знакомый Егору почерневший нож с расколотым черенком. Пошла куда-то со двора — одалживать яиц на яичницу: своих кур уже не было. С убитым видом Егор ходил сюда-туда по избе, слушая, как прокурор Городилов приговаривает: «Да-а-а, да-а-а, дела...» — «Вот так!» — сказал Егор, стараясь, однако, не обнаружить перед ним своих истинных чувств. Но уполномоченного, видно, занимало несколько другое, и он спрашивал: «Кого же мы подпишем? Или это только у вас так? Наверно, ваша деревня — исключение? Как вы считаете?» — «Исключение! — в сердцах бросил Егор и с желчью добавил: — И район исключение! И вся Беларусь исключение!» Сказал и испугался, и увидел в глазах прокурора такой же испуг. Оба, затаив в себе страх, умолкли. Егор растерянно смотрел в засиженное мухами окно. «Что же это делается, что же это делается?» — не мог отвязаться он от докучливой мысли, ответа на которую не было.

Нескоро, однако, пришла мать, принесла пяток добытых у соседей яиц, зажарила на загнетке яичницу. Егор вынул из портфеля хлеб, отрезал три ломтя. Мать бережно взяла свой, с жадностью изжевала беззубым ртом. Товарищ прокурор тем временем исследовал травник: разломал на две части, поднес поближе к окну. «Скажите, мамаша, какие тут ингредиенты? Мука, да?» — «Ой, сынок, каб же мука, а то мякина, ну да трава, бульбин несколько... Бульбочка если бы была, а то уже кончилась. В колхоз два бурта забрали на посевную...» — «Так, понятно. А трава какая для этого употребляется?» — не мог удовлетворить своего любопытства прокурор. «Да крапивка. Какая же еще трава по весне? Крапивка», — сказала мать. «Да, но ведь... крапива жгучая. Как же ее в пищу?» — «Так, пякучая, если под тыном. А в травнике ничего... Если бы не колючая, а то... В рот нельзя взять, во беда: колется. Если зубы у кого молодые, а то вот никаких нет».

Они едва досидели до вечера, когда было назначено собрание. Мать все жаловалась на жизнь и болезни, и какая-то безысходная обреченность была в ее голосе, в полных скорби словах. Егор мучился от острого сознания тупика, в котором очутилась его родная деревня, и оттого было неловко перед чужим здесь человеком. И он все размышлял: как же пойдет подписка? Подпишутся ли его земляки? С такими мыслями-заботами и отправились на собрание.

У Суботков, на том самом дворе, с которого он когда-то выехал в люди, уже собрались односельчане, ждали. Мужики обсели крыльцо, сидели и стояли у забора, курили и как-то смиренно, без интереса, смотрели на них двоих, как они подходили с улицы. Азевич поздоровался, ему сдержанно ответило несколько голосов, и все безучастно смолкли. Он с опечаленным любопытством оглядывал их знакомые, до времени постаревшие лица, и ни на одном не увидел ни улыбки, ни искреннего доброжелательства, скорее, ожидание чего-то опасно-вероломного, что ли. «Ну как жизнь?» — деланно бодро спросил он, ни к кому не обращаясь, и ему не сразу ответили. «Да какая жизнь? Житуха!» — сказал кто-то из-под забора. Его поддержали другие: «Умереть сподручнее, чем так жить». — «Жди, умрешь. Тогда возрадуешься». — «Не засеешь, — конечно, помрешь. Что есть будешь?» И опять все примолкли. Некоторые исподлобья, подозрительно поглядывали на Азевича и особенно на не знакомого им Городилова. И Егор думал, как же они подпишутся? Послушаются ли его? «Нет, лучше не говорить о жизни, — подумал он. — Не трогать болячек». И он заговорил о займе, лишь когда сел на привычное место за столом президиума.

Вопреки его ожиданию, с подпиской большой проблемы не оказалось. Предколхоза задал тон — триста рублей. Правда, следующий подписался на двести пятьдесят, а другие с безнадежной покорностью лишь подтверждали: «Если все, то... пишите. Все равно...» Азевич немного удивился: словно не думали выплачивать, такое воцарилось безразличие. Одна только женщина, многодетная вдова Дашка, заупрямилась: «А не буду, и все. Что хотите, делайте, а не подпишусь». Ее и уговаривали, и запугивали — нет и нет. «А что — посадите в тюрьму? Так сажайте! И детей сажайте, там, может, с голоду не помрут, кормить будете...» Азевич и выступал, и уговаривал, а сам не мог избавиться от неотвязной мысли: «Что же это делается?.. Что делается?.. Перестали и бояться...»

В ту пору Азевич был очень недоволен собой, особенно став членом партии, потому как зачастую не находил в характере необходимой твердости, непримиримости к тем, кто мешал, не желал делать так, как велела партия. Иногда в нем невольно прорезалась жалость к какой-нибудь тетке, которая не в состоянии была уплатить налоги, выполнить заготовки — клялась, что ничего не имеет, что дети голодные. И он в таких случаях растерянно замолкал на собрании — не знал, что сказать. Не то что Дашевский, или Молодцов, или какой-нибудь уполномоченный из округа, которых не смущали никакие причины невыполнения, и они решительно требовали сдать — хоть умри. «Можешь и умереть, — говорил Дашевский, — это твое личное дело. Но сперва рассчитайся с государством. С советским государством!» — подчеркивал Дашевский. И всем становилось ясно, что это государство — воплощение силы и непримиримости. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим, таков был главный принцип власти по отношению ко всем — партийцам, непартийцам, служащим, крестьянам. Но Азевич еще так не мог, не научился. А может, не позволял характер. Но он очень хотел преодолеть этот свой недостаток и стать настоящим большевиком, твердым и безжалостным к себе и всем остальным.

### 9

Он явственно ощутил, что спит. Ничего ему не снилось, и внешний мир ничем не напоминал о себе, он находился в глубоком забытьи, и это забытье, может, впервые не казалось ему болезненным. Ему стало лучше, он это почувствовал еще до того, как проснулся. Еще не раскрыв глаза, понял, что болезнь стала отступать, кажется, он впервые согрелся под кожухом и даже вспотел. Немного отстранил от лица косматый воротник кожуха — в сарае было пронзительно светло, резко светились все щели в стенах, в подстрешье, наполняя тесное помещение каким-то белым, чрезвычайно чистым, праздничным светом. Вверху на соломе, чирикая, порхали воробьи, но на эту половину не залетали, наверно, боялись его. А может, и не обращали внимания на занемогшего человека. Азевич попробовал повернуться на другой бок, к стене, но это оказалось так трудно, что он тут же и оставил попытки. Он хорошо вмял свое лежбище, просевшее в горохе едва ли не до самой земли. Обессиленно повозившись под кожухом, как-то устроился поудобнее и почувствовал, что хочет есть. Показалось, обессилел именно от голода, хотя во всем теле еще была разлита болезненная слабость. Но это уже была не очень опасная слабость, и он подумал, что, может, все еще как-нибудь обойдется. Может, он не умрет.

Хуже было то, что он утратил всякое чувство времени, не знал, сколько пролежал тут — сутки или двое — и какая сейчас пора на дворе — утро или вечер. Что не ночь, это было определенно. И он стал дожидаться прихода тетки. Должна же она прийти. Он не знал, откуда и кто она, его спасительница, кто там у нее в доме. Но он очень ждал ее — знал, она придет не с пустыми руками, принесет что-то, чтобы его покормить. В прошлый раз он отказался есть, лишь пил из большой белой кружки. Теперь огляделся и увидел под кривым бревном у стены ту самую кружку. Как-то дотянувшись до нее, бережно поднес кружку ко рту. Холодное молоко показалось более вкусным, чем в тот раз, и он выпил его до дна. Потом, обессиленно откинувшись в своем лежбище, глубже забрался под кожух и стал наблюдать за ласточкиными гнездами в подстрешье. Одно из трех гнезд было больше остальных, с обломанным краем, наверно, летом до него добирались мальчишки. Располагалось оно удачнее двух других — в самом углу, под стропилом, и, пожалуй, держалось крепче. Настанет весна, прилетят ласточки, нанесут в клювах свежей грязи из луж, подправят свое гнездо, думал Азевич. А потом там появятся три-четыре маленьких, в крапинку, яичка, которые ни в коем случае нельзя трогать ребятам, иначе их лица обсыпят веснушки. Как нельзя и разорять — бить палкой по гнездам. Птичьи гнезда разорять нельзя, это большой грех. А вот человеческие...

Азевич заметил, что воробьи почему-то не подлетали к ласточкиным гнездам и вроде даже не обращали на них внимания. Они оживленно чирикали на другом конце сарая, порхали по балкам, но старые чужие гнезда их не интересовали. Наверно, где-то у них были свои, и они их держались. Не то что люди.

Люди! Как с ними бесцеремонно поступали и еще чего-то от них дожидались. Все годы советской власти они были средством, материалом для осуществления не слишком умных, иногда вздорных, а то и безумно-безжалостных планов. Через голод, несправедливость и кровь. В те годы Азевич скрепя сердце пытался убедить себя, что все это правильно, потому что нужно для высшей цели: для счастья последующих поколений. По крайней мере, так писали в газетах. Какие они будут, эти последующие поколения, еще не известно, а ныне живущие уже обязаны были обеспечить их счастьем — не было ли в том элементарной несправедливости? Эксплуатация человека современным ему человеком считалась делом преступным, а каторжная работа на человека будущего выдавалась за дело чести, доблести и геройства. Странную, однако, философию изобрели большевики, думал Азевич, удивляясь, как это оставалось никем не замеченным. Для него с годами все отчетливее становилось: если происходящее во вред живущим, то и не на пользу последующим. Во вред и тем и другим.

Всегда очень тягостно было размышлять о жизни, о собственной судьбе — одни разочарования и боль. Обычно он избегал думать о том, что от него не зависело, с головой уходя в повседневные заботы, в суету бесконечных и многотрудных партийных кампаний. Потом как-то постепенно пристрастился к водке и нередко в поездках, в командировках, среди знакомых отводил душу в застольях, а чаще — в тесном кружке где-нибудь на уютной опушке, речном бережку. Пили много, говорили, однако, мало: больше о частностях службы, сложностях отношений с начальством, редко — о женщинах. Разговоров о политике согласно избегали, это он чувствовал точно. На том, что больше всего болело, лежало негласное табу. Откровенные разговоры о политике партии были делом смертельно опасным; Азевич уже знал, что многие, забывшие об этом, поплатились карьерой, свободой. А то и жизнью.

А вот теперь говори, о чем хочешь, да не с кем. Он остался один со своими мыслями и безмолвными воспоминаниями. Так можно и погибнуть, ни разу никому не раскрыв душу, не высказав того, что наболело за много лет. Оставшись вдвоем с Городиловым, они тоже ни о чем не говорили, кроме как о войне. Хотя это были откровенные разговоры, тут уж можно было не лицемерить. Надо было драться, и надо было победить. Иначе ничего не станет — ни жизни, ни даже надежды. А так еще быть может... Быть может, после войны что-то изменится к лучшему. Неужто и в этой кровавой борьбе народ не заслужил лучшего к себе отношения? А впрочем... И победу, если она наступит, можно истолковать по-разному. Ведь всякая борьба заключает в себе двоякий смысл: не только против, но и за. За что боролся он, Азевич? За то, что пережил он, его отец с матерью, сестра Нина, квартирный хозяин Исак, Анеля и ее родители, он не хотел бы. Тогда за что же?

На это он не находил ответа.

От свежевыпавшего снаружи снега ярко блестели многочисленные щели между бревнами, сквозь них порой сильно задувал ветер. Азевич уже не закрывал глаза, в голове немного прояснилось, и весь он отдался слуху. К своему удивлению, за все время он не услышал ни одного человеческого звука, ни голоса, ни стука. Тихо, будто на хуторе. Но ведь это не хутор, это деревня, небольшая, правда, деревня, вроде под лесом. Теперь, когда от него немного отступила болезнь, он начал ощущать страх при мысли, что его тут может накрыть полиция. Или деревенские прислужники фашистов. Все-таки, наверно, не все здесь такие, как его тетка, есть и обиженные советской властью. Разве мало обижали? Только одни по войне забыли недавние обиды, а другие именно теперь их припомнили. Для этих бывший райкомовец Азевич как раз самая соблазнительная находка. Еще можно что-то и заработать на его голове. Нет, залеживаться ему здесь нельзя. Надо куда-то топать. Вот только куда?

Он немного повернулся в своем лежбище, прислонился лбом к холодному бревну. Сквозь узкую щель стал виден небольшой заснеженный кусок огорода с изгородью и далее гривка мелколесья — не того ли, из которого он вышел к этим сараям? Деревни отсюда не было видно — кажется, эта усадьба тут крайняя.

Может, он опять задремал, потому что не заметил, как возле появилась тетка. Тихонько заговорив, она опустила рядом с ним на горох небольшой узелок, стала его развязывать.

— Ну як жа вы тут? Трохи будто повеселели с виду. Горячка вроде отступилась, ага?

— Вроде отступила, — неожиданно слабым голосом проговорил он.

— Ну и хорошо. Ну и ничего. Даст Бог, и поправитесь. Вядомо ж, простуда, она на каждого может. Или какой грипп... Вон в прошлую зиму у нас грипп всю деревню выкачал... Тут вот принесла вам горячего молочка и это... с медом. Мед, он очень пользительный. К сватье бегала...

— Ты же не сказала там... Обо мне?

— Ну как же я скажу? Разве можно по теперешнем часе... Это ж, если дознаются, не дай Бог! И вам, и нам тоже...

— А у вас кто еще... дома?

— А бабка, мать моя. Ну и детки, две девочки. Сын Витя неизвестно где. В России был на учебе, у ФЗО[[14]](#footnote-14) этом, а теперь кто знает? Может, и живого нет, — пригорюнилась тетка, сразу изменившись лицом.

— А у вас эти, полицаи есть? — спросил Азевич.

— У нас нет, кому тут в полицию идти. Одни старики да бабы. А вон из Саковщины наведывается Петручонок-младший. Нацепил белый лоскут на рукав, дали винтовку, и ходит. Три дня тому назад приходил. Очень боялась, думала, может, дознались что... Про вас.

— Три дня? — удивился Азевич. — А разве я тут три дня уже?

— Вы же тут от среды, если помните. Как раз в среду я пришла за соломой, парсючку подостлать. А вы стонете. Аж спужалась...

— Постой... От среды? Так сколько же я пролежал?

— А восьмой день сегодня.

Это его удивило. Восьмой день, а он думал, дня два или три. Значит, хорошо его уложила болезнь. Значит, не простуда это, как бы не тиф... Но сегодня ему все-таки лучше, чем даже вчера. Жар вроде спал, была только большая слабость, хотелось лежать, не двигаться.

В это время где-то за воротами коротко гавкнул пес, и Азевич вздрогнул от неожиданности. Тетка, заметив это, объяснила:

— То ж Вурдулака.

— Кто?

— Вурдулака наш. Ну собака. Пришел и сидит. С утра где-то бегал, а теперь вернулся. Наверно, учуял, где я.

— Собака...

— Ну. Знаете, прибился с лета, может, из лесу притащился, такой отощавший, худой, пришел на подворок и лег. Слышу, куры закудахтали, подумала, может, лиса — летом было повадилась, трех курочек утащила. А то пес. Черный такой, большой. Я на него замахалась, взяла палку — не идет. Ну что делать? Дала хлеба — съел. И остался. Теперь куда я — туда и он.

— Не лает?

— Нет. Не брехучий.

— Так, может, пустите? Сюда.

— Нет, не надо. Он... к мужчинам какой-то недобрый. Это же летом на большаке, ну там, за лесом, наших пленных гнали... Ой, Божечка, сколько их там шло!.. По жаре, голодных. Которые обраненные, в закорелых бинтах... И немцы по сторонам с винтовками. Ну как-то пошли мы из села, вчетвером — племянница, ну и бабы. А у племянницы перед тем мужика смобилизовали, думала, увидит. Продуктов узелок прихватила. Стали мы возле мостка, на пригорочке, и правда — гонят! Идут — не идут, а бредут, тащатся. Которые падают, которых ведут. А если которого не возьмут, так немцы — бах! И готов. Стоим мы, глядим, боимся, что немцы прогонят. Но не прогоняют. И тут этот... Вурдулака прибежал, носится возле людей, побежит в одну сторону, в другую — очень встревоженный. А не лает, и немцы его не трогают. И тут — бах в одном конце, потом в другом. Это ж немцы стреляют, кто упал. В аккурат и возле мостка стрельнули одного. Бабы бросились вниз — лежит молоденький такой, с перевязанной рукой. А немцы кричат: нельзя, цурук! Ну мы назад, боимся. Немцы отошли, так этот Вурдулака — туда. Подбежал, холера, и кровь с травы лижет. Человеческую кровь, может, теплую еще. С травы, а потом с груди. Мы аж испугались, во так собака! Как пошли домой, он где-то побежал за колонной. Ну, думаю, пусть идет, зачем он такой? Аж надвечерком является, сильно хромает, подстреленный, что ли? Лег под вербой, лежит, только язык высалопил. И никуда не идет. Ну и остался. Оклемался как-то. Теперь не хромает.

Тетка рассказала, поправила на шее теплый платок, и Азевич не знал, что ей сказать. Пристрелить, наверно, следует такого пса. А может, и нет. Наверно, и собаки теперь такие, как люди, — покалеченные войной, бедолаги в бесприютной собачьей жизни.

— Что-то он к мужчинам недобрый. Как увидит где мужика, сразу шерсть дыбом. Наверно, дались ему мужчины. Особенно если в военном.

— Возможно.

Тетка принялась его кормить. Сначала супом из глиняной миски, из которой он зачерпнул три ложки и больше не смог. Потом заставила его выпить кружку теплого молока с медом. И он с огромным усилием выпил, хотя молоко опять не показалось ему вкусным. Он вконец устал от всей процедуры кормежки, лег на горох. Большой ломоть хлеба остался нетронутым на краю обвязанного марлей кувшина.

— А как же с хлебом у вас? — спросил Азевич. — Есть хлеб?

— Хлеб есть, — с удовлетворением в голосе ответила тетка. — Намолола на той неделе, испекла три буханки. Не то что в колхозе.

— Постой! — что-то припомнив, сказал Азевич. — А где намолола?

— Да в сенцах. На жорнах.

— А разве... жорны у вас не разбили?

— А, тогда! — догадалась тетка, что он имеет в виду. — Били. На три куска камень разбили. Лежали в крапиве. Да еще каждый день делали обход, проверяли, лежат ли там, куда бросили.

— Кто разбил? — сказал он и затаился, ожидая ответа.

— Да комсомольцы эти. И активисты. А мой Иван все равно молол. Смастерил такие обручи, составит камни и смелет ночью. А потом разберет и снова куски в крапиву. Там и лежат. Те придут, посмотрят, в тетрадке что-то пометят. Так и обходились, — тихонько засмеялась тетка, довольная своею с Иваном хитростью.

«Так и обходились! — подумал Азевич. — И теперь она кормит своим хлебом того, кто уничтожал жернова, бил камни. Или она не знает, не догадывается, кто он такой? Или не держит обиды на него и таких, как он? Недавних райкомовцев, комсомольцев, активистов? Что это за характер такой — незлобивый или безразличный к добру и злу? Что это — крестьянское, женское? Или национальное? Откуда это взялось, хорошо это или плохо? А вдруг эта незлобивость будет и по отношению к немцам? Покажется, что и немцы не хуже? Тем более что позволяют есть свой хлеб, который не позволяли есть большевики?»

— Я вам хлебца оставлю и молочка. А супчик подогрею и еще принесу. Пообедать. Так лежите, набирайтесь силы, — сказала она, вздохнула и пригорюнилась. — Может, и мой сынок где так лежит. Если живой. А может, и в земельке уже...

— Да нет, — попытался утешить ее Азевич. — Если молодой, так где-нибудь на фронте. Там все-таки Красная Армия, командование. Воевать будет.

— Хотя бы уж как-нибудь победили немца этого. А то прет и прет, — сказала тетка и трудно вздохнула.

— Победим, — откликнулся он с нетвердой уверенностью. — Не может того быть, чтоб не победили. И лучше жить будем. Справедливее, чем до войны. Все-таки классовая борьба кончится, врага не будет.

Тетка не очень проворно стала подниматься с гороха.

— Хотя бы не было. А то все враги да враги вокруг...

Азевичу показалось, что в ее словах таилось определенное сомнение в том, что сказал он. Но он сказал это искренне. Он очень хотел верить, что после всего пережитого до войны и в войну, когда выгонят фашистов, жизнь переменится. Все-таки люди, объединенные общим усилием, должны избавиться от классовой, партийной да еще какой там вражды и зажить по справедливости. Сколько же можно бороться между собой?

Вот только придется ли дожить до того золотого дня таким, как он? Впереди еще немало крови и страданий... Немцы... Правда, в этой деревне их, может, еще и не видели. Зато тут властвуют полицаи. А сколько в других деревнях этих полицаев? Особенно в больших. Уж об этом оккупанты позаботились, навербовали себе помощников. Тем более что вербовать было из кого, нашлось немало желающих. Как и тех, кто пошел к ним на службу по безысходности: или в партизаны, или в полицию. А также окруженцы, дезертиры, пленные из шталагов. Вот еще с кем воевать придется. Со своими.

— А где Иван твой? — осторожно спросил Азевич.

— А кто ж его знает, — просто ответила тетка. — Как взяли, так ни слуху ни духу.

— Кто взял?

— Да свои. Энкеведисты. Был бригадиром в колхозе, все делал, как приказывали. Даже партийным стал, на собрания ходил. Так взяли. Ночью приехали из района, начальник Милован и с ним еще двое. Перетрясли все, перерыли и взяли. Как уходил, сказал, что ошибка, что разберутся и выпустят. Ну я и ждала. И год минул, и другой. Ничего! И за что пропал человек?

Тетка опять потемнела с лица, уставясь задумчивым взглядом куда-то. Он не утешал ее, ничего больше не спрашивал. Да и что он мог ей сказать? Где ему было взять нужные для того слова?

— Пересохло у меня все, ожидаючи. Если бы хоть была провинка какая, если бы он что сделал не так, насуперек, или взял чужое. Так нигде ничего. Такой был совестливый — и парнем, как замуж выходила, и потом, как мужиком стал. Никогда, бывало, ни словом не тронет, ни, оборони Бог, руками. Все ждала-ждала... Стукнет где чем скотина, кажется — идет. Мелькнет что за окном — Иван идет. Ночью, сдается, шепчет. Проснусь — никого. Наверно, уже не дождусь.

— Это хорошо, что ждешь. Не то что некоторые. Жена должна ждать.

— Ну. Некоторые совсем совесть потеряли. Вон Семкова Агата, как взяли, так через месяц уже с другим забегала. Отказалась, говорит, от врага народа. Или Тэкля из Кожанов. А я не могу так. Как это я откажусь? От своего мужика? Может, моя ожиданка ему где поможет. А то гляди — еще и выпустят.

— А что, кого-нибудь выпустили? Кто-нибудь вернулся?

Тетка отрицательно покачала головой.

— Не-а. У нас не слыхать было. Может, где и выпускали, а у нас никто не вернулся. Всех где-то там позамучили.

Может, и не надо, чтобы выпускали теперь, по войне, не в лад со своими чувствами подумал Азевич. Вон Войтешонка выпустили, а что с того толку? Хорошо еще, что не побежал к немцам, инвалид все же. А если бы был здоров, разве ему удалось бы увернуться от службы в полиции? Нет, те, кто там побывал, уже бесполезны для советской власти.

Ну а эта тетка?.. Сама в лагере не побывала, но потеряла мужа. И гляди — выхаживает его, одного из тех, кто в то время не только бил жернова...

Трудно ему было понять все это, правда, он и не слишком старался проникнуть в каверзные загадки жизни. Хватало ему нынешних, военных загадок. И самой большой из них была его собственная нерешенная судьба-загадка — как быть, куда податься?

Притомившись от разговора с теткой, он вскоре уснул. Приснился ему какой-то нелепый, ужасный сон. Привиделось, будто он расхаживает по огромному, во все поле, цветнику из пионов, похожему на тот, что был когда-то у соседа-бухгалтера. Ему, в общем, тепло и хорошо, но почему-то тревожно, неясное беспокойство владеет его чувствами. Он медленно переходит цветущее поле и выходит к оврагу, на дне которого, знает, должен протекать ручей. Но вместо ручья видит там стоячий кровавый пруд; кровавые потоки стекают с голых склонов оврага, руки его тоже в крови, он хочет вытереть их об одежду, но только пачкает ее. И тут с конем Белолобиком появляется его отец, он молча отдает сыну повод, а сам легко поднимается в воздух и, удаляясь, летит над оврагом. А на той стороне оврага появляется нацдем Дорошка. В белой одежде, словно деревенский дед, он простирает над оврагом длинные руки и громовым голосом вещает что-то. Смысла его слов Азевич не может понять, ему становится страшно, он хочет уйти отсюда. Но тут оказывается, что Дорошка просит-взывает о помощи, хочет с того берега перебраться на этот и не может. Азевич пугается, делает во сне волевое усилие и просыпается.

Сны он видел нечасто, а проснувшись, просто не помнил их. Но этот не мог не запомниться и очень не понравился ему. К чему приснился Дорошка? Что значил кровавый овраг, через который тот не мог перебраться? Азевич не слишком понимал несчастного нацдема, хотя в душе и не питал особой вражды к нему. Чувствовал, что Дорошка — вроде неплохой человек, а за что его арестовали, кто знает? Может, были причины, а может, и нет. Во всяком случае, теперь, по прошествии лет, Азевич сожалел о его аресте, но что он мог тогда сделать? Защитить его не было возможности, погубить — раз плюнуть.

В сарае было темно, холодно, но под кожухом он немного согрелся, и в эту ночь его не знобило. Как всегда, проснувшись, вслушивался в таинственные ночные звуки. Где-то поблизости попискивали мыши, шуршали-точили солому; задувая в подстрешье, тихонько шумел соломенными прядями ветер; Азевич снова начал дремать, но вдруг проснулся от пугающих звуков — это были далекие выстрелы; где-то бабахнуло раз, другой, третий. Два вместе. Стреляли из винтовок. Охваченный тревогой, Азевич сначала сел, потом, опираясь о шершавые бревна стены, встал на колени. Держась за стену, сошел с груды гороха и шатко побрел в темноте к выходу. Ворота сарая оказались запертыми снаружи, он несильно подергал их, и одна половинка раскрылась.

В тот раз, в пургу, когда он шел сюда, казалось, что другие строения были вдалеке от сарая. Теперь же оказалось, что они совсем рядом, в нескольких шагах — изба, хлев. Поодаль чернела дырявая стенка повети, за ней, кажется, было гумно. От ворот сарая к избе тянулась узенькая, свежепротоптанная в снегу стежка. В стороне от нее, за полем и лесом, красными отблесками вспыхивало небо и слышались выстрелы. Пока он вслушивался, бабахнуло еще раза три, потом все смолкло. Дрожащие сполохи огня широко расплывались по краю неба, на их фоне четко высветились черные еловые вершины близкого леса, и он подумал: где это? Может, на большаке или в Саковщине? Но, по-видимому, Саковщина ближе, а это под Голубяницкой пущей. Наверно, под пущей, и горит, видимо, деревня. Значит, жгут и ночью; и ночью над человеческой судьбой вьется ворон погибели. Кто погибает только? Но там наверняка партизаны. В Голубяницкой пуще должен действовать отряд из соседнего района. Если он сохранился.

И все-таки он был слаб, не мог долго стоять на стуже и скоро вернулся в сарай. На коленях вполз в свое глубоко вмятое за неделю лежбище, с головой укрылся кожухом. Дрожал от озноба и думал, что, видно, надо как-то выбираться отсюда. Еще день полежит и пойдет. Будет искать таких, как он сам. Да и люди помогут. Помогла же ему эта тетка, у которой он даже не спросил ее имя. Надо будет спросить...

Он немного задремал на рассвете, а когда утречком прибежала тетка со своим узелком, впервые улыбнулся ей и привстал, прислонясь спиной к бревнам.

— Ну как вам? — спросила она. — Лучше?

— Лучше, лучше, — сказал он, стараясь говорить как можно бодрее.

Она развязала свой узелок, вынула миску с драниками и шкварками, от которых по сараю сразу разошелся полузабытый запах домашней снеди. На этот раз он съел все без остатка, выпил полную кружку теплого молока.

— Слышала, как стреляли ночью? — спросил он и насторожился в ожидании ответа.

Тетка озабоченно взглянула на него.

— Ну. Под утро такая стрельба — в Костюковке, говорят.

— Это где? Под пущей?

— Ну под пущей. Горело там что-то.

— Жгли?

— Наверно, жгли.

Он думал, может, она что-нибудь знает о ночных событиях, но, похоже, знала она не больше него.

— Сегодня я пойду от вас, — сказал он решительно, хотя настоящей решимости еще не испытывал — не знал, справится ли со своей слабостью.

Она только переспросила:

— Да? Пойдете?..

— Надо идти. Нельзя мне долго оставаться. Я же из райкома. Моя фамилия Азевич, может, слыхали? — сказал он, тронутый добротой этой женщины.

Ожидал, что она удивится, или разозлится, или о чем-либо спросит. А тетка сказала просто:

— Я знаю.

— Знаешь? И знала, кто я? — удивился он.

— Ну. Я же узнала. Вы тогда приезжали, собрание проводили в Трикунах. Еще с такой женщинкой беленькой были. И председатель райисполкома, как его, забыла... Что врагом народа стал.

— Заруба.

— Вот-вот — Заруба. Я в то время у сестры там была, сходила на собрание. Вас видела. Молодой такой, в буденовке...

Вот так, круг замыкался. А он думал... Он думал, что никто — ничего. Но вот знали, помнили. Не ждали только. Но и нежданного приняли, может, спасли от гибели. Чем же он отблагодарит эту сердечную тетку? Чем порадует в ее не менее трудной, чем у него, судьбе?

— Тут еще вот какая проблема, — сказал Азевич. — Подошва у меня отвалилась.

— Да?

— Вот как, — шевельнул он дырявым сапогом. — Может бы, мне какой сапог расстаралась?

На и без того озабоченном лице тетки пробежала тень новой заботы.

— Где же его взять? У меня сапогов нет. Ни мужчин, ни сапогов. Сама во, в опорках хожу. Может, отремонтировать как? — вдруг оживилась она. — Если вы снимете, так я в Кривени схожу. Тут наш, деревенский, починяет некоторым.

— Ну что ж, — сказал Азевич. — Попробуй, может, починит.

С усилием он стащил с ноги подсохший за время его болезни сапог, прикрыл босую стопу сопревшей портянкой. Она взяла сапог, припрятала его под полу одежки.

— Но чтоб не задерживаться. Хорошо? — сказал он.

— Ну я попрошу.

Тетка ушла, а ему стало неспокойно на душе: все-таки сапог мог вызвать подозрение — явно мужской размер. Но, может, как-то обойдется, куда же ему с босой ногой? И он подумал, уже не в первый раз: когда организовывали партизанщину, как скрытничали, как старались, чтобы никто ничего не увидел, ни о чем не догадался. Намеревались обходиться только собственными припасами, иметь дело лишь со своими кадрами. И где они теперь, эти припасы, эти проверенные-перепроверенные кадры? Нынче вот — тетки. И что бы он делал, если бы не эта, никому в районе не известная тетка? Теперь на нее вся его надежда, от нее все спасение.

Азевич решил идти, как стемнеет, через поле, обойдя тот ужасный овраг. В сарае высмотрел удобную палку, стоявшую возле косяка у ворот. Хорошо, что снегу в поле насыпало еще немного, едва притрусило жнивье на пашне, можно было идти напрямую. Главное — добраться до Костюковки. Он припомнил кое-кого из довоенных знакомых, наверно, они помогут. И свяжут его с ребятами из Голубяницкой пущи. Иного выхода у него не было.

Да, следовало выбираться отсюда и начинать все заново. Опять мучиться, голодать, терпеть страх и стужу. Бороться. Что следовало бороться, в этом он не испытывал сомнений. Если они захватят, истребят, разопнут на кресте народ — не останется ничего. Ни прошлого, ни будущего. Значит, бороться за будущее. Но, пожалуй, и за прошлое тоже? То, что пережито с болью и обидой. Но ведь это ужасно! Вот положение, будь оно проклято. И никакого выбора...

Все-таки, однако, должно же что-то перемениться, пытался убедить себя Азевич. Вечно не может так продолжаться. Как было — не должно! Все-таки с народом так невозможно. Даже и этот народ имеет какое-то право на человеческое отношение к себе. Чем он виноват, где и когда преступил закон? Божеский или человеческий? Чересчур много терпел? В прошлом и в нынешнем. Хотелось верить, однако, что после пережитого, после кровавой бани-войны наберется нового ума. Не может быть, чтобы такая война ничему не научила. Хотя бы прибавила толику чувства собственного достоинства. Нельзя же всегда, всю историю, жить в рабстве и унижении. Повиснув на кресте, даже не плакать.

Впрочем, у него, Азевича, все было загодя определено. Первый заход окончился неудачей, надо было начинать следующий. Пока не кончатся силы. Или не грянет погибель.

Такова судьба. Судьба его поколения. Да и народа тоже. Что же еще остается? До конца драться за советскую власть...

Весь тот день Азевич терзался горькими мыслями и ждал тетку. В тревожном ожидании просмотрел все глаза, вглядываясь в щель, раза два вставал, хромая на босую ногу, ходил туда-сюда по свободному пятачку в сарае. Иногда его охватывала тревога: а вдруг она не придет? Или с ней придет еще кто-то? Но она пришла одна, как всегда, тихонько открыла половинку ворот и так же тихо притворила ее.

— Вот ваш сапог. Подбил Кривеня. Говорит, а другой где? Да, говорю, другого нет. Как, говорит, нет? Ну соврала неловко. Пять яиц отдала и еще пять должна осталась.

— Десять просил?

— Десять.

— Ну и шкуродер ваш Кривеня.

— Не шкуродер, он добрый. Выпивает только. Ему бы самогонки, но у меня где же та самогонка? Две курочки только.

Азевич натянул сапог и сразу почувствовал себя увереннее. Если бы только побольше сил. А то даже закружилась голова. Тетка тем временем подала ему узелок с едой.

— Вот, много не клала, чтоб вам тяжело не было. Все-таки после болезни... Ну так береги вас Бог.

Они вышли из ворот и остановились на углу сарая. Уже совершенно стемнело. В белой сутеми лежала околица, по краю ее тянулась заснеженная гривка кустарника. Все-таки он был слаб, шатался от ветра, но менять своего решения не стал. Пойдет. Может, разойдется, в дороге станет полегче. Мороз был небольшой, ночь светлая, может, не заблудится. Местность он немного помнил, насколько ее можно было запомнить в метель.

— Ну, теточка, спасибо тебе!

— И тебе счастливо.

Он слегка обнял ее одной рукой и шатко ступил в снег. Потом, не оглядываясь, пошел возле кустарника, не очень ловко помогая себе палкой. Отойдя, вспомнил, что так и не спросил у тетки ее имя. Оглянулся, но возле сарая никого не увидел. Может, ушла, а может, стояла, невидимая, под черной стеной.

Он, не стесняясь, перекрестился. Наверно, впервые за войну. Даже смутился, потому что не крестился с детства. Ни парнем, ни тем более взрослым, когда работал в районе. Но чувствовал, что теперь было в самый раз — по крайней мере, не помешает. А то и поможет. Ему, и тетке, и всем, кто очутился в беде. Потому как — кто же еще им поможет?

Он далековато уже отошел в ночи от сарая, впереди серели заснеженные заросли ольшаника, когда вдруг услышал какое-то движение сзади и обернулся. По его следам от сарая вприпрыжку бежал большой черный пес. Азевич остановился, поднял палку, но и пес тоже остановился. Не залаял — молча натопырил холку и ждал. Азевич негромко крикнул: «Пошел прочь!» — и замахнулся палкой. Пес не побежал, лишь злобно зарычал на него. Постояв немного, Азевич сделал несколько шагов к лесу, и пес также осторожно пошел по его следам.

«Что делать?» — растерянно думал Азевич. Убегать, спасаться или идти с этим в лес? Или застрелить его? Но стрелять было далековато, а близко пес не подходил — наверно, уже был научен. «Чтоб ты сдох, падла!» — подумал Азевич и достал наган.

С наганом на изготовку, то и дело оглядываясь, он нерешительно пошел к ольшанику. Сзади, не подбегая близко, то бежал, то останавливался Вурдулака. Чего-то ждал от человека.

1. Районное потребительское общество или потребительский кооператив. [↑](#footnote-ref-1)
2. Вёска — деревня, село. [↑](#footnote-ref-2)
3. Районный дом культуры. [↑](#footnote-ref-3)
4. Грубая обувь из целого куска кожи, стянутого сверху ремешком. [↑](#footnote-ref-4)
5. Рудничные стойки, крепежный лес. [↑](#footnote-ref-5)
6. Человек, поселившийся после женитьбы в семье жены, принятый в семью жены. [↑](#footnote-ref-6)
7. Районный земельный отдел. [↑](#footnote-ref-7)
8. Гонт — короткие тонкие дранки, для покрышки кровель в Польше и Литве. [↑](#footnote-ref-8)
9. Финансовый отдел райисполкома. [↑](#footnote-ref-9)
10. Трехстенный амбар прямоугольного плана. [↑](#footnote-ref-10)
11. Сотканное из очесов льна. [↑](#footnote-ref-11)
12. Международная организация помощи борцам революции. [↑](#footnote-ref-12)
13. Т. е. жернова. [↑](#footnote-ref-13)
14. Школа фабрично‑заводского обучения. [↑](#footnote-ref-14)